SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

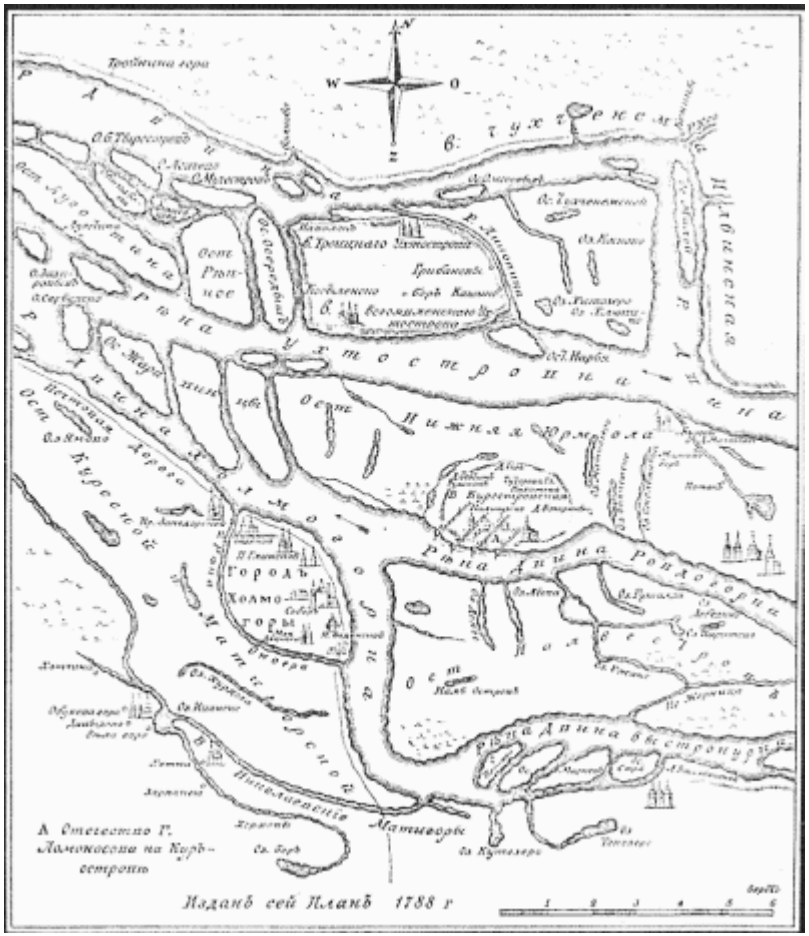
- А.И. Львович-Кострица
  - ГЛАВА I
  - ГЛАВА II
  - ГЛАВА III
  - ГЛАВА IV
  - ГЛАВА V
  - ГЛАВА VI
  - ГЛАВА VII
  - ИСТОЧНИКИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7

А.И. Львович-Кострица
Михаил Ломоносов. Его жизнь, научная, литературная и общественная жизнь

ГЛАВА I

Родина М.В. Ломоносова. – Его родители. – Злая мачеха. – Детство. – Суровая природа северного края. – Знакомство с бытом северных обитателей. – Влияние условий, в которых протекало детство М.В. Ломоносова, на его характер. – Первый учитель Ломоносова. – Увлечение расколом. – "Грамматика" Смотрицкого и "Арифметика" Магницкого. – Причины, побудившие Ломоносова бежать в Москву. – Поступление в Заиконоспасское училище. – Просьбы отца вернуться домой. – Один алтын. – Успехи юноши в монастыре. – Недовольство обучением в школе. – Киевская академия. – Разочарование. – Возвращение в Москву

Неприглядную и суровую картину представляет собою родина нашего великого ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова. Одна из больших и многоводных рек России, Северная Двина с давних пор служила удобным торговым путем, ведущим к единственному в те времена русскому морю. Это-то обилие даровой, стихийной силы передвижения и море, открывающее свободный доступ к западным государствам Европы, и определили, так сказать, русло, по которому предстояло осуществляться почти всей нашей первоначальной вывозной торговле. Понятно, как это обстоятельство должно было отразиться на увеличении народонаселения по берегам Двины. По мере приближения к Белому морю река все более и более расширяется, дробится на ветви, рукава и притоки и образует множество больших и малых островов; одновременно число деревень, сел и городов все растет и растет. Одни из них были построены туземцами, первыми обитателями двинской земли, а другие – выходцами из внутренней России, по преимуществу новгородцами. Со дня основания некоторых из этих поселений прошло уже несколько столетий. Так, например, против города Холмогор лежит на Двине остров, называющийся Куростровом;



План мест, прилежащих к Куростровской волости – родине Ломоносова. Гравюра по рисунку Н.Я. Озерецкого. Деталь, 1788

под этим именем он встречается уже в судной грамоте 1397 года и останется навсегда памятным для каждого русского, так как здесь-то и родился Ломоносов.

Ломоносов. Гравюра Э. Фессара – Х. Бортмана

Рост числа поселений, о котором мы только что упомянули, объясняется, с одной стороны, обширным спросом на рабочие руки для судоходства, выгрузки и погрузки товаров, а с другой – рыбным и соляным промыслами на море, привлекавшими многих из жителей этих мест:

Соляные варницы на Севере. Гравюра второй половины XVII в.

Дальний Север вел весьма значительную торговлю солью и рыбой с Новгородом, Москвою и другими городами. Выгоды торговли и промыслов заставляли жителей мириться с суровым климатом и жалкой природой этих мест.

Архангельск

Вышеупомянутый Куростров не представляет собою ничего заманчивого для всякого поверхностного наблюдателя. Это довольно большой, но низменный остров, и в половодье он едва не затопляется разливом Двины; всюду разбросаны низенькие болотистые кочки и невысокие холмы, сверху донизу затянутые мхом; между ними лежат, словно погруженные в вечную дремоту, непросыхающие болотины с грязной водой; ни леса, ни рощи не видно на всем протяжении острова, только кое-где торчит жалкая, искривленная, точно больная, березка, да по береговой окраине растет беспрерывный и чахлый ивняк, в какой-то грусти склонившийся над плавно движущимися водами реки.

Нет здесь ничего такого, на чем глаз наблюдателя мог бы с удовольствием остановиться. И тем не менее длинный ряд серых бревенчатых изб деревень и сел тянется почти по всему низменному и песчаному берегу Куростров, – и здесь идет негромкая, невидная, но упорная и беспрерывная борьба за существование. Одна из этих деревень называется по-письменному Денисовкой, а в просторечии – Болотом.

Отсюда, из-за ивняка, виднеются на левом берегу Двины Холмогоры со своими старинными церквями, а по другую сторону, на правом берегу, как раз против Холмогор, – древнее село Вавчуга. Во времена Петра Великого в этом селе была устроена корабельная верфь, принадлежавшая архангелогородскому купцу Боженину. В бытность свою в Архангельске Петр неоднократно посещал богатого и умного владельца верфи и гостил у него по нескольку суток.

В деревне Денисовке уже в начале XVIII столетия жил *черносошный* крестьянин Василий Дорофеевич Ломоносов.

Обыкновенно биографы нашего великого борца с “неприятелями наук российских”, говоря о его происхождении,

утверждают, что “он вышел из самой низшей и простой среды народа”, как бы желая этим еще больше оттенить необычайность гения Ломоносова. Мне кажется, что этот последний всем сделанным им так ярко проявил свою гениальность, что в подобных способах “оттенения” она совсем не нуждается, тем более что эти способы не вполне соответствуют фактам.

Дело в том, что Ломоносов-отец вовсе не являлся обычным крепостным крестьянином-рабом того времени. Совсем напротив, *он имел участок земли, которым владел на правах собственности.* Это ясно следует из сохранившейся купчей крепости, которою Василий Ломоносов передавал за 10 рублей своему односельчанину в полную собственность одно из своих полей. Кроме того, он *“промысел имел на море, по мурманскому берегу и в других приморских местах для лова рыбы трески и полтосины на своих судах, из коих в одно время имел немалой величины гукор с корабельною оснасткою,* всегда имел в том рыбном промысле счастие, а собою был простосовестлив и к сиротам податлив, а с людьми обходителен, только грамоте неучен…”

Так аттестует отца Ломоносова некий Варфоломеев в своей заметке от 4 июля 1788 года. В жизнеописании Ломоносова при академическом издании его сочинений 1784 года читаем: отец Ломоносова был “промыслом рыбак… и первый из жителей сего края состроил и *по-европейски* оснастил на реке Двине под своим селением галиот и прозвал его “Чайкою”; ходил на нем по сей реке, Белому морю и по Северному океану для рыбных промыслов и по найму возил разные запасы казенные и частных людей города Архангельска в Пустозерск, Соловецкий монастырь, Колу, Кильдин, по берегам Лапландии, Семояди и на реку Мезень”.

Из этих фактов ясно следует, что Ломоносов-отец был свободный, зажиточный крестьянин, вероятно, самый богатый на всем Куростров. Когда стали собирать деньги на строительство церкви в Денисовке, Василий Дорофеевич не задумался пожертвовать 10 рублей, то есть стоимость, как мы видели, целого участка земли. Этот вклад по своей значительности превышает все прочие, сделанные его односельчанами.

Таким образом, на отца Ломоносова следует смотреть не как на простого крестьянина, а как на промышленника и купца. Только этою его зажиточностью и может быть объяснен его первый брак с дочерью дьякона Еленой Ивановной, урожденной Сивковой. От этого брака и родился сын Михаил, которому суждено было впоследствии прославиться на всю Россию и Европу, который в одном лице своем, как выразился Пушкин, объединял “всю российскую академию и университет”.

Год рождения Михаила Васильевича определяют по-разному.

В конференц-архиве Императорской Академии наук хранится пачка бумаг, среди которых находится собственноручная черновая записка Ломоносова, написанная в первые месяцы 1754 года. В этой записке Ломоносов заявляет, что возраст его – 42 года. Такое утверждение “заслуживает, – говорит Пекарский, – тем более доверия, что прочие выставленные в отзыве годы обозначены чрезвычайно точно, что подтверждается другими современными свидетельствами”.

Итак, если в 1754 году Ломоносову было 42 года, то он родился в 1712, а может быть и в 1711 году.

О раннем детстве и отрочестве Ломоносова до нас дошли крайне скудные сведения. Мне не удалось встретить ни одной строчки, в которой бы сам Михаил Васильевич вспоминал о своей матери. Следует думать, что она умерла тогда, когда сыну ее было всего несколько лет. Отец женился вторично на дочери крестьянина Михаила уского. Мачеха не любила пасынка. Ломоносов называет ее злой и завистливой, говорит, что она “всячески старалась произвести гнев в отце” и вооружить его против сына. Такие тяжелые семейные условия, несомненно, имели большое влияние на складывающийся характер мальчика.

Лишь только минуло Михаилу 10 лет, как отец стал его брать с собою на рыбную ловлю в Белое море и Северный океан. Это делалось не только потому, что Василий Дорофеевич хотел приучить своего сына к морю и воспитать из него доброго рыболова и моряка, но и потому еще, что отец просто нуждался в помощнике для своего дела. Мальчик был здоровый, крепкий и сильный, так что ж ему дома сидеть, у печки греться да с мачехой ссориться!

Во время этих трудных и продолжительных поездок – по четыре недели подряд и более – молодой Ломоносов знакомился с величественной и суровой природой Северного океана; при этом он не оставался только простым созерцателем диких красот далекого Севера; нет, весьма нередко отец и сын вынуждены бывали вступать в жестокую борьбу с разбушевавшимся океаном, в борьбу, которая могла закончиться только или победою над грозной стихией, или смертью их обоих. Очень вероятно, что в памяти Ломоносова ярко вставали картина за картиной его далекие странствия с отцом по бурному морю, когда он писал в 1762 году в оде на восшествие на престол Петра III:

Когда по глубине неверной
К неведомым брегам пловец
Спешит по дальности безмерной,
И не является конец,

Прилежно смотрит птиц полеты,
В воде и в воздухе приметы.
И как уж томную главу
На брег желанный полагает,
В слезах от радости лобзает
Песок и мягкую траву.

Но помимо того, что эти далекие плавания развивали и укрепляли в мальчике стойкость характера, волю и смелость, они давали ему возможность знакомиться с бытом северных обитателей, с их нравами и обычаями, со всевозможными промыслами и вообще наблюдать множество новых лиц, весьма различных по своему положению и кругозору.

Таким образом, хотя мальчик до двенадцати лет и не учился грамоте, но его естественные умственные способности отнюдь не были лишены развивающей их пищи. Ему приходилось сталкиваться с самыми разнообразными явлениями жизни и строить самостоятельно свои выводы. Так что можно с уверенностью сказать, что по своему умственному развитию в эти двенадцать лет Ломоносов стоял на несравненно высшей ступени, чем, например, какой-нибудь петербургский школьник, сверстник его по летам, всю свою жизнь просидевший в каменном доме каменного города.

Первым учителем Ломоносова был крестьянин той же Куростровской волости Иван Шубной, сын которого Федот Иванович Шубин впоследствии, вероятно не без содействия Ломоносова, состоял при Академии художеств.

Учение пошло легко, так что мальчик “через два года учинился, ко удивлению всех, лучшим чтецом в приходской своей церкви. Охота его до чтения на клиросе и за амвоном была так велика, что нередко бывал бит не от сверстников по летам, но от сверстников по учению за то, что стыдил их превосходством своим пред ними произносить читаемое к месту расстановочно, внятно, а притом и с особою приятностью и ломкостью голоса”. Сначала любимым его чтением были “жития святых, напечатанные в прологах, и в том был проворен, а притом имел у себя природную память: когда какое житие или слово прочитает, после пения рассказывал сидящим в трапезе старичкам сокращеннее на словах обстоятельно” (Путешествие академика Ивана Лепехина. СПб, 1804). Следует заметить, что в это время “младый его разум уловлен был раскольниками так называемого толка беспоповщины; держался оного два года, но скоро познал, что заблуждает”. Как известно, раскол этого толка отличался

крайностями и горячностью от всех других; последователи его предпочитали лучше сотнями умирать в срубах, построенных их же собственными руками, чем отступиться от своих верований. В увлечении юного Ломоносова таким расколом впервые сказалась страстность его натуры. В семье жилось плохо. Грубая и злая брань сварливой мачехи, гнев отца, толчки и побои – все это не могло удовлетворить страстной души мальчика, жаждавшей, конечно, ласки и нежности. Но и раскол не дал ему то, чего он искал. Только одна наука в состоянии была удовлетворить его вполне.

Как-то зайдя в дом односельчанина Христофора Дудина, он увидел в первый раз в своей жизни недуховные книги. Это были “Грамматика” Смотрицкого и “Арифметика” Магницкого. Как Ломоносов ни просил старика Дудина дать ему эти книги на несколько дней, дед оставался непреклонен и отвечал на все просьбы отказом. Тогда Ломоносов избрал другой путь. Он стал особенно ласков с тремя сыновьями старика, старался им всячески угодить, пока наконец не получил от них этих столь заманчивых книг. “От сего самого времени не расставался он с ними никогда, носил везде с собою и, непрестанно читая, вытвердил наизусть. Сам он потом называл их вратами своей учености”.

Скажем здесь несколько слов об этих двух книгах. “Грамматика” Смотрицкого и “Арифметика” Магницкого являлись самыми крупными и едва ли не единственными в своем роде источниками книжной мудрости в допетровской Руси. Оба эти произведения носят на себе резкий отпечаток польской схоластики, которая нашла себе гостеприимный приют в Киевской академии и оттуда вместе с тамошними учеными перешла в Москву. “Грамматика” Смотрицкого оказала весьма сильное влияние на Ломоносова; он не забыл о ней даже тогда, когда составлял свою собственную грамматику. Об этом мы поговорим подробнее ниже. Здесь же добавим кстати, что уже на пятнадцатом году Ломоносов писал безошибочно против современного ему правописания. Этот факт весьма красноречиво иллюстрирует блестящие способности крестьянского мальчика, особенно если вспомнить первую известную подпись Карамзина-юноши, полную таких ошибок и описок, что один из его биографов только по одной этой причине отказался верить в принадлежность ее перу столь известного впоследствии историографа. Что же касается “Арифметики” Магницкого, одного из учителей Морской академии, основанной в Петербурге в 1715 году, то следует заметить, что многие слишком доверчиво отнеслись к имеющимся в этой книге стихам:

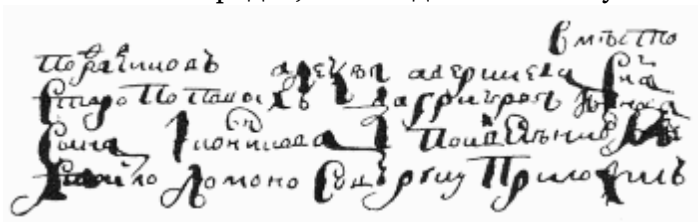
Зане разум весь собрал и чин
Природный русский, а не немчин —

и стали считать Магницкого самостоятельным творцом этого произведения. Теперь оказалось, что арифметика составлена по старинным рукописям, несомненно, перешедшим к нам из Польши; Магницкий только скомпилировал, если не перевел, готовый материал и разукрасил его силлабическими виршами, действительно, своего сочинения. Такая компиляторская работа была вполне по плечу для талантливого учителя Морской академии. Магницкий знал несколько иностранных языков и принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. “Петр Великий был особенно расположен к нему, жаловал его деревнями, приказал выстроить ему дом в Москве и даже благословил образом, а за его глубокие познания и, вероятно, привлекательную беседу называл “магнитом” и приказал писаться “Магницким”, – говорит Порфирьев. “Арифметика” Магницкого была напечатана в 1703 году. Это была первая в России арифметика с арабскими цифрами; ранее же употреблялись в арифметиках вместо чисел славянские буквы. Книга украшена аллегорической виньеткой и разделена на две части: арифметику-политику и арифметику-логистику. В первой изложены сведения, необходимые для гражданина, воина и купца; во второй – для землемера и мореплавателя.

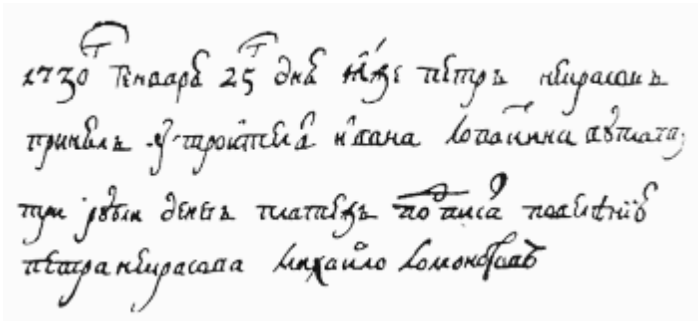
Юный Ломоносов, с таким жаром накинувшийся на эти новые книги, не мог без посторонней помощи понять всего их содержания, особливо арифметику-логистику. А между тем жажда понять была очень велика. И вот он сидит по целым дням за книгами. Сварливая мачеха сердится и бранится, всячески старается “произвести гнев” в отце его; этот последний становится на сторону своей жены и находит, что сын его предается действительно пустым занятиям. Любознательному юноше не остается ничего иного, как удалиться из дому в “уединенные и пустые места и терпеть стужу и холод”. Вскоре Ломоносов выучил наизусть обе книги. Все то, что было им понято и усвоено, нисколько не удовлетворяло его любознательности, а скорее, напротив, возбуждало ее.

Новиков в своем “Опыте исторического словаря о российских писателях” писал всего через семь лет после смерти Ломоносова, что главной побудительной причиной, заставившей Михаила Васильевича покинуть отчий дом и бежать в Москву, явилась страсть к стихам и сильное желание обучаться стихотворству. Эта любовь к стихотворной форме была возбуждена случайно

попавшейся ему Псалтырью, “переложенной в стихи Симеоном Полоцким”. Товарищ Ломоносова по Академии наук Штелин, в свою очередь, утверждает, что причиной бегства стала жажда научного знания. Священнослужитель, учивший Ломоносова грамоте, на вопросы его “обыкновенно отвечал ему, что для приобретения большого знания и учености требуется знать язык латинский, а ему не инде можно научиться, как в Москве, Киеве или Петербурге, что в сих только городах довольно книг на том языке. Долгое время питал он в себе желание убежать в который-нибудь из сказанных городов, чтоб отдаться там наукам”.



Образец почерка 14-летнего Ломоносова



Образец почерка 19-летнего Ломоносова

Это объяснение нам кажется более вероятным, хотя возможно, что наряду с жаждой научного знания было и страстное желание обучиться стихотворному искусству. Нельзя сомневаться, что к бегству побуждали также тяжелые семейные условия и твердое намерение отца женить подрастающего парня, хотя бы даже против его воли.

В книге для записей поручителей в платеже податей за отлучившихся Куростровской волости сохранилась следующая отметка: “1730 года декабря 7-го дня отпущен Михаиле Васильев сын Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукою по нем в платеже подушных

денег Иван Банев росписался”.

Таким образом, бегство Ломоносова совершилось около 7 декабря 1730 года. Паспорт юноше удалось достать тайком, при помощи управлявшего тогда в Холмогорах земскими делами Ивана Васильевича Милюкова. Сосед Фома Шубной, вероятно родственник первого учителя Ломоносова Ивана Шубного, снабдил его на дорогу полукафтаньем и, заимообразно, тремя рублями денег. Ни слова не сказав домашним о своем намерении, он отправился в путь “и дошел до Антониево-Сийского монастыря, в расстоянии от Холмогор по Петербургскому тракту во ста верстах, был в оном некоторое время, отправлял псаломническую должность; заложил тут взятое им у Фомы Шубного полукафтанье мужику емчанину, которого после выкупить не удалось, ушел оттоле в Москву, пристал на Сухареву башню обучиться арифметике, которой науки показалось ему мало, то пришел он к тогдашнему московскому архиерею, объяви себя поповским сыном, просил о принятии себя в Заиконоспасское училище для обучения словено-греко-латинских наук, куда был и принят”.

Вот одна версия о бегстве Ломоносова и поступлении в школу; ее признают в настоящее время более вероятной, она помещена в “Путешествии академика Ивана Лепехина”. Другая версия принадлежит Штелину, о котором мы уже упоминали. Он приводит множество любопытных подробностей, которым, как оказалось при более тщательной проверке по рукописным источникам, доверять нельзя, так как в его рассказах попадаются крупные неточности, поневоле заставляющие сомневаться в его сообщениях как в целом, так и в частностях. Но, тем не менее, мы решаемся привести здесь повествование Штелина о бегстве Ломоносова и о том, как ему удалось попасть в Заиконоспасское училище, – этот рассказ интересен.

> “Долгое время питал он в себе желание убежать в который-нибудь из сказанных городов, чтоб отдаться там наукам. Нетерпеливо находил удобного случая. На семнадцатом году возраста своего напоследок оный открылся. Из селения его отправлялся в Москву караван с мерзлою рыбою. Всячески скрывая свое намерение, поутру смотрел, как будто из одного любопытства, на выезд сего каравана. Следующею ночью, как все в доме отца его спали, надев две рубашки и нагольный тулуп, погнался за оным вслед (не позабыл взять с собою любезных своих книг, составлявших тогда всю его библиотеку: грамматику и арифметику). В третий день

настиг его в семидесяти уже верстах. Караванный приказчик не хотел прежде взять его с собою, но, убежден быв просьбою и слезами, чтоб дал посмотреть ему Москвы, наконец согласился. Через три недели прибыли в столичный сей город. Первую ночь проспал Ломоносов в обшевнях[1] у рыбного ряда. На завтрее проснулся так рано, что еще все товарищи его спали. В Москве не имел ни одного знакомого человека; от рыбаков, с ним приехавших, не мог ожидать никакой помощи; занимались они продажею только рыбы своей, совсем об нем не помышляя. Овладела душою его скорбь; начал горько плакать; пал на колени; обратил глаза к ближней церкви и молил усердно Бога, чтоб его призрил и помиловал.

Как уже совсем рассвело, пришел какой-то господский приказчик покупать из обоза рыбу. Был он земляк Ломоносову, коего лицо показалось ему знакомо. Узнав же, кто он таков и об его намерении, взял к себе в дом и отвел для житья угол между слугами того дома.

У караванного приказчика был знакомый монах в Заиконоспасском монастыре, который часто к нему хаживал; через два дня после приезда его в Москву пришел с ним повидаться. Представив он ему молодого земляка, рассказал об его обстоятельствах, о чрезмерной охоте к учению и просил усильно постараться, чтоб приняли его в Заиконоспасское училище. Монах взял то на себя и исполнил самым делом. И так учинился наш Ломоносов учеником в сем монастыре. Дома между тем долго его искали и, не нашед нигде, почитали пропадшим до возвращения обоза по последнему зимнему пути: тогда уже узнали, где он и что он”.

Что отец Ломоносова действительно знал, где его сын и что он делает, – это не подлежит никакому сомнению, так как Михаил Васильевич сам говорил, что получил от отца не одно письмо с просьбою воротиться домой.

На первых порах молодому человеку пришлось довольно тяжело в монастыре. Вообразите себе, в каком положении очутился высокий, статный юноша с пробивающимся пухом над верхней губой, когда поступил в низший класс школы и оказался товарищем малолетних школьников; вообразите, с каким удивлением все эти малые ребята уставились на него, каким звонким, задорным и неудержимым смехом разразились все они, когда узнали, что этот здоровенный парень пришел зубрить

вместе с ними латинскую азбуку! Шуткам, насмешкам и издевательствам, само собой разумеется, конца не было. Все прыгали вокруг него, кричали, хохотали, показывали на него пальцем: “Смотрите-де, какой болван лет в двадцать пришел латыни учиться!” – как выразился сам Ломоносов, вспоминая об этом тяжелом для него времени. Но подобные неприятности были весьма незначительны по сравнению с тою бедностью, в которой он очутился. В день выдавался всего один алтын[2] жалованья. Из этой суммы он мог позволить себе истратить только денежку[3] на хлеб, денежку на квас, а остальное уходило на бумагу, обувь и прочие нужды. Таким образом приходилось жить изо дня в день, без всякой надежды на улучшение в близком будущем, и это после того довольства, которым он пользовался в отцовском доме! А тут еще письма отца, постоянные усовещивания и просьбы возвратиться, понять, что для него же, для сына, он копил копейку за копейкой, кровавым потом наживал состояние, которое по смерти его расхитят чужие люди. Желая во что бы то ни стало вернуть сына, Василий Дорофеевич пишет ему, что такие-то и такие-то хорошие люди с радостью отдадут за него своих дочерей. Сколько соблазна! Недаром Ломоносов писал, вспоминая об этой тяжелой поре: “Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели”. Но жажда научного знания, всецело завладевшая пылкой и страстной душой нашего молодого человека, заставляла его забывать обо всех неприятностях и лишениях, которые приходилось терпеть изо дня в день, и, не колеблясь, бесстрашной рукой порывать все связи со своим прошедшим. Вряд ли в это время юный Ломоносов знал, куда приведет его путь, избранный им; вряд ли даже жила в нем твердая уверенность, что, отдавшись своему влечению к науке, он сделает свое будущее лучшим и более светлым, чем было его прошедшее. Вероятнее всего, что даже в мечтах увлекающегося юноши образ заманчивого будущего не находил определенных очертаний и красок. Мечты – в какую бы несбыточную и фантастическую область ни уносили нас – всегда держатся на фундаменте реальных фактов прошедшего. А Ломоносов, порвав с прошедшим, вступил в совершенно новую для него жизнь, ни условий, ни форм проявления которой он тогда еще не знал. Отсюда становится понятным, в каких неопределенных и спутанных контурах выступало перед ним это далекое будущее. Но неопределенное и неясное не имеет в себе достаточно силы, чтобы человек решился сделать шаг, могущий резко изменить все направление его жизни. Если бы нашим юношей руководили

соображения о будущем, *мечты о карьере* ученого, то, наверное, из этих туманных мыслей и эгоистических волнений ничего бы не вышло. В том-то вся и суть, что Ломоносовым руководила живая и напряженная страсть – жажда научного знания. Эта беззаветная любовь к науке, наполнявшая пылкую душу здорового парня, подчинила себе все его существо. Для юноши знание само по себе являлось единственной целью, оно порождало все его стремления и давало им высшее и законченное удовлетворение.

И заметьте, что сын рыбака вовсе не был мечтательным “баловнем судьбы”, никогда не имевшим надобности вступать в реальную жизнь с ее напряженной и грубой борьбой за существование. Нет, совсем напротив, молодой Ломоносов с десятилетнего возраста окунулся в эту суровую школу жизни, отроком уже являлся ответственным представителем интересов семьи и отлично усвоил себе практическую сметку, чуждую всякой сентиментальности и неразборчивой доверчивости. Для него мир вовсе не был окрашен в розовые тона и отнюдь не состоял из одних добродетельных и благодушных людей. В ту ночь, когда смельчак обдумывал свой побег из отчего дома и горячее сердце юноши трепетало от сладкой истомы охватившего его желания, он, наверное, крепко поразмыслил о том, на что решается, и совершенно отчетливо нарисовал себе те нужду и горе, с которыми ему неизбежно придется встретиться. Но желание было слишком интенсивно, чтобы могло померкнуть от созерцания этих мрачных картин.

Такова была благородная, высокая и бескорыстная страсть, овладевшая всем существом молодого человека.

Она явилась как бы откликом на прекрасную и плодотворную мысль Петра Великого о необходимости для России широкого образования; она, эта страсть, и создала того серьезного русского ученого, в котором так нуждалась в то время Россия и о котором великий реформатор мечтал как о венце своих забот по развитию наук в нашем отечестве.

Славяно-греко-латинская академия. Гравюра XIX в.

В Заиконоспасском монастыре Ломоносов принялся учиться с великой охотою и неослабевающей энергией. По прошествии первого полугодия его переводят уже из низшего класса во второй; затем, в том же году, – в третий класс. Через два года он уже настолько овладел языком древних римлян, что в состоянии был сочинять небольшие латинские стихотворения. “Тогда начал учиться по-гречески, а в свободные часы, вместо того чтобы, как другие семинаристы, проводить их в резвости, рылся в монастырской библиотеке. Находимые в оной книги утвердили его в языке словенском. Там же, сверх летописей, сочинений церковных отцов и других богословских книг, попалось в руки его малое число философических, физических и математических книг. Заиконоспасская библиотека не могла насытить жадности его к наукам, прибегнул к архимандриту с усиленною просьбою, чтоб послал его на один год в Киев учиться философии, физике и математике…”, – рассказывает Штелин. На эту просьбу

архимандрит ответил согласием и выдал ему деньги на проезд. Этот факт показывает, как уже в то время начальство училища серьезно смотрело на занятия Ломоносова. К сожалению, того, что он надеялся получить от Киевской академии, она ему не дала. Там все подчинила себе польская схоластика, и вместо положительных знаний, которых так жаждал юноша, он встретил здесь, правда весьма изощренные, но зато и достаточно бессодержательные, философские и богословские прения. В них, главным образом, и заключались все занятия в Академии. “Навостриться спорить” тут Ломоносов мог прекрасно, но не это манило его: не прошло и года, как он, разочарованный в Киевской школе, возвратился назад, в Москву, где его ожидали крупные события, открывшие наконец ему свободный доступ к изучению западноевропейской науки.

Памятниками ученических годов Ломоносова в Москве остались, во-первых, стихи, которые он должен был сочинить в наказание за какой-то школьнический проступок:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши сели,
В радости запели.
Егда стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли-бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.

А во-вторых – учебник, писанный рукою Ломоносова и находящийся ныне в Румянцевском музее в Москве. Это учебник по риторике на латинском языке. Если сравнить его с “Кратким руководством к красноречию, или Риторикой”, составленной Ломоносовым и в первый раз изданной в 1748 году, мы обнаружим немалое число вполне тождественных определений, хотя и различно расположенных.

ГЛАВА II

История возникновения Императорской Академии наук в С.-Петербурге. – Сношения Петра с Лейбницем и Вольфом. – Хлопоты Лейбница об учреждении академии. – Советы Вольфа учредить университет, а не академию. – Проект нашей Академии. – Екатерина I. – Три отделения Академии. – Математические науки занимают господствующее положение. – Подозрительное отношение к науке. – Злополучия Академии при Петре II. – Совмещение Академии наук с Академией художеств и ремесел. – Долги Академии. – Блюментрост. – Барон Корф. – Выбор 12 учеников из Заиконоспасского монастыря. – Ломоносов в числе их. – Приезд в Петербург. – Отъезд за границу. – Марбург. – Занятия Ломоносова. – Увлечение Ломоносова и товарищей разгулом. – Долги. – Перевод во Фрейберг к Генкелю. – Отношения между Генкелем и Ломоносовым. – "Ода на взятие Хотина". – Ссоры с Бергратом. – Путешествие Ломоносова в Лейпциг, Кассель и Марбург. – Возвращение в Петербург. – Смерть отца. – Жена Ломоносова

Вся дальнейшая жизнь и деятельность Ломоносова тесно связаны с С.-Петербургской Императорской Академией наук. Поэтому находим здесь нелишним рассказать, хотя и очень сжато, об истории возникновения этой Академии.

Петр Великий во время двух своих путешествий по Европе приложил немало стараний, чтобы составить себе более или менее точное представление обо всех европейских учреждениях, связанных с наукой и служащих для распространения научного образования. При этом он вел продолжительные беседы со всеми выдающимися учеными и своим благосклонным и любезным обращением старался упрочить знакомство с ними, имея в виду в ближайшем будущем воспользоваться их знаниями. По возвращении из-за границы с некоторыми из них он вступил в продолжительную переписку.

Для истории просвещения в России особенно важны и интересны сношения Петра I с Лейбницем и Вольфом. Эти два философа и ученых-энциклопедиста стояли тогда во главе всей европейской науки.

Первый из них, заслуживший себе бессмертную славу своей теорией о бесконечно малых величинах, обладал склонным к широким обобщениям умом и, между прочим, стремился отыскать универсальный язык для всех народов.

Лейбницу принадлежит "грандиозная идея об ученом

обществе, или братстве, во всем мире, которое, на основании научных стремлений, должно было привлечь к себе не только науку, но и все дела государства и даже целого человечества. С этой идеей были связаны его старания возбуждать к основанию академий в Берлине, Дрездене, Вене и Петербурге. Он смотрел на академию как на общую мастерскую, где несколько рук вместе работают над наукой, потому что для дальнейшего ее возрастания общества служат лучше, чем отдельные люди", – говорит Порфирьев. Эта идея породила другую – о возможности отыскать универсальный язык, используя который, все народы алгебраически могли бы понимать друг друга.

Со знаменитым ученым Петр I встретился еще во время своего первого путешествия в 1697 году в городе Торгау и пожаловал ему звание тайного советника и содержание в одну тысячу рейхсталеров в год. За это Лейбниц составлял разные планы и проекты для просвещения России. Он находил необходимым для нее учредить девять коллегий: государственную, военную, финансовую, полицейскую, юридическую, торговую, вероисповеданий, ревизионную и ученую. Из городов, в которых следовало основать академии, университеты и школы, Лейбниц указывал на Москву, Киев, Астрахань и Петербург. Все эти рассадники просвещения должны были помещаться в удобных и обширных зданиях, владеть библиотеками, обсерваториями, снабженными инструментами, музеями и так далее. Эти проекты, как и многие другие, о которых мы здесь не упоминаем, были слишком обширны и, конечно, в то время не могли быть выполнены в России, которая едва только начинала учиться. Но все-таки они оказали воздействие на реформы Петра. Не подлежит никакому сомнению, что под влиянием именно этих проектов великого энциклопедиста возникла у Петра мысль об учреждении коллегий, Академии наук в Петербурге, а затем и идея послать Беринга для открытия пролива между Азией и Америкой, и так далее.

Еще более сделал для нашей Академии другой глава тогдашней европейской науки, Христиан Вольф, ученик Лейбница.

Христиан Вольф, профессор Марбургского университета. Гравюра XVIII в.

Он состоял сначала профессором в Лейпциге, затем в Галле и наконец в Марбурге. Его философия хотя и не могла претендовать на самостоятельность и оригинальность, но отличалась строго логической последовательностью и ясностью. Благодаря этим качествам она приобрела обширную школу последователей и господствовала в Германии вплоть до Канта. Кроме философии Вольф, как и большинство ученых-энциклопедистов того времени, занимался математикой, физикой, химией и другими науками.

Сношения Петра с Вольфом начались в 1715 году, когда некий Орифеус распустил слух, что ему удалось создать perpetuimi mobile. Великий реформатор отлично знал, как многочисленны и важны могут быть последствия такого изобретения. Ему захотелось воспользоваться им для России, и через своего лейб-медика Блюментроста он предложил Вольфу поступить на русскую службу на каких угодно условиях, лишь бы изобретение Орифеуса было удачно усовершенствовано. Вольф отказался от такого предложения, но сношения с ним на этом не прервались. Вскоре император предложил ему приехать в Россию и приступить к устроению Академии наук; предложение было несколько раз повторено, причем ученого соблазняли местом

президента Академии. Но Вольф оставался непреклонным, отговариваясь то нездоровьем, то суровым климатом России, то боязнью преследования со стороны русского духовенства.

Следует заметить, что этот знаменитый ученый совсем не находил практичным открывать в Петербурге Академию наук; при этом он указывал на Берлинскую академию, которая “по имени известна всему свету, но пользы никому и ничему еще не принесла”. “Обыкновенный университет, – писал он, – где ученые будут преподавать то, что распространит наука между русскими, не только полезнее для страны, чем Академия наук, но также к тому поведет, что в несколько лет Академия наук будет состоять из русских, которые потом настоящую славу доставят своему государству”.

Таковы были советники Петра в деле устроения нашей Академии наук. В 1724 году он повелел составить проект Академии вышеупомянутому Блюментросту.

Этот последний, вероятнее всего, ограничился в своем проекте только теми соображениями, которые были переданы ему самим императором. Влияние Лейбница и Вольфа также сказалось на этом проекте: Петр Великий вздумал включить в состав Академии и университет, обязанный готовить академиков из русских студентов, и гимназию, где бы воспитывались слушатели для университета. При этом предполагалось, что в университете будут читать публичные лекции “о художествах и науках” сами академики, а в гимназии – их адъюнкты. Но энергическому реформатору не удалось привести этот проект в исполнение.

В.С. Адодуров, первый русский адъюнкт Петербургской Академии наук. Силуэт работы неизвестного художника

С.П. Крашенинников, естествоиспытатель, академик

Петербургской Академии наук. Гравюра А. Осипова, конец XVIII – начало XIX в.

Академия наук была открыта супругою Петра Екатериной I только через полгода после его смерти, 27 декабря 1725 года, если считать ее основание со дня первого торжественного заседания. Конечно, на первых порах не было никакой возможности открыть при ней университет и гимназию. Ограничились одной частью проекта – открыли собственно Академию наук. Сначала в ней было три отделения: 1) *математическое* – низшая и высшая математика, астрономия и география, чистая и прикладная механика, 2) *физическое* – общая физика, физиология, анатомия, химия, ботаника, 3) *историческое* – метафизика, логика, мораль, политика, элоквенция, история, естественное и публичное право. Президентом Академии был назначен составитель проекта – Блюментрост. Он еще в сентябре 1725 года, когда только что приехали приглашенные в Россию ученые, предложил устав для академического ученого общества. В устав вошли в расширенном виде все статьи доклада, или проекта, Блюментроста, поданного еще Петру I. Екатерина I, хотя и весьма благосклонно относилась к Академии, почему-то не утвердила этот устав. Таким образом, Академия наук была с первого же года своего существования отдана на безотчетный произвол лиц, которым поручалось управление ею, что и повлекло за собой в самом непродолжительном времени, с одной стороны, полное расстройство всей хозяйственной части ее, а с другой – бесконечные внутренние раздоры между учеными и управителями, “считавшими себя вправе распоряжаться по своему усмотрению судьбами этого учреждения” и бесцеремонно доказывавшими это свое право на деле.

Выбором ученых людей, из которых должна была составиться наша Академия, руководил тот самый Христиан Вольф, который, как мы уже видели, выступал против учреждения академии в России и вместо нее советовал открыть университет. Но, приняв косвенное участие в устроении нашего ученого общества, он исполнил возложенные им на себя обязанности с замечательной добросовестностью. Его выбор и рекомендации коснулись только тех лиц, которые уже обладали значительными заслугами и пользовались солидной известностью. Очевидно, Вольф намеревался создать блестящее ученое общество и вполне достиг своей цели. Такие ученые, как Герман, Николай и Даниил Бернулли, Бильфингер, Байер, Делиль и многие другие, с первых же лет существования Академии сумели упрочить за нею положение одного из выдающихся ученых обществ в Европе.

Академические “Комментарии” впервые вышли в свет в 1728 году и у всех европейских ученых встретили самый лестный прием. Приглашенные Вольфом академики вполне понимали все важное значение создающейся академии и доказали это понимание строгим отбором молодых людей, которых пригласили ехать с собою в Россию в качестве адъюнктов. Юные ученые оказались настолько сведущими в избранных ими науках и настолько даровитыми, что в короткое время, сделавшись членами нашей Академии, сумели обратить на себя внимание своими талантливыми работами. Среди них были Эйлер, Мюллер, Гмелин, Крафт и Вейтбрехт.

Г.В. Крафт, профессор экспериментальной физики, академик Петербургской Академии наук. Литография, середина, XIX в.

Вследствие великих открытий Коперника, Кеплера, Ньютона и Лейбница в области математики, физики и астрономии преобладающим направлением в европейской науке того времени стало направление математическое, реальное. Как бы подтверждая это характерное явление эпохи, и в нашей Академии с самого ее основания математические науки заняли господствующее положение, получили особое значение и развитие. Понятно, что этому немало содействовало то обстоятельство, что выбором академиков руководил Вольф, ученик Лейбница, сам всю жизнь занимавшийся математикой и

физическими науками. С другой же стороны, математические науки могли и должны были занять господствующее положение по самому характеру их. “Математика, имея дело с умозаключениями, которых первое условие определенность и очевидность, в то же самое время поставлена в такое счастливое положение, что в ее области можно делать великие открытия, производить перевороты и пр., – все это без малейшего соотношения к последовательному развитию идей политических и религиозных, которые имеют такое преобладающее значение в науках политических и исторических”.

В описываемую эпоху к науке относились не только вообще без особенного уважения, но и с весьма щепетильной подозрительностью. Такое отношение проявлялось иногда даже со стороны тех лиц, священною обязанностью которых и было, собственно, оказывать свое содействие ученым в их стараниях приобрести сведения, необходимые для разрешения тех или других научных вопросов. Эта подозрительность весьма нередко заставляла таких лиц становиться в прямо враждебные отношения к академикам и всеми силами тормозить их дело. Так поступали выдающиеся по своему положению и образованию люди, – что ж говорить обо всем остальном непросвещенном русском обществе…

Когда математические знания прилагались к практическому делу, когда Эйлер объяснял, как устроить чувствительные весы для взвешивания монет, указывал, как удобнее поднять большой колокол на одну из московских колоколен, составлял географические карты и прочее, тогда все оставались покойны и, пожалуй, проникались некоторым уважением к науке. Но лишь только эта последняя дотрагивалась до одного из воззрений, утвердившихся в русском человеке в течение предшествовавших веков, до одного из тех китов, на которых, по его мнению, держалась Земля, как все набрасывались на эту же самую науку, обвиняли ее в ереси, в кощунстве и т. п.

Речь Делиля о вращении Земли нашли невозможным напечатать по-русски, сочинение Фонтенеля о множестве миров не решились издать без разрешения высшего начальства, и т. д., и т. д.

При таком отношении к науке и ее представителям что ж удивительного, что очень скоро при выборе в члены Академии совсем забыли о принципе, которого держался Христиан Вольф, и стали руководствоваться соображениями, с наукой ничего общего не имеющими! Понадобился человек, умеющий бойко писать стихи на иллюминации и фейерверки и сочинять аллегории, – давай его сюда, в члены Академии! (Штелин, Юнкер). Захотелось

угодить тогдашнему временщику Бирону, отчего же не сделать из секретаря и учителя его детей двух новых академиков… (Штрубе де Пирмон и Леруа). Угождая сильным мира сего, правители Академии надеялись упрочить свое положение и приобрести большее право на бюрократическое распоряжение ученым учреждением. И они не ошиблись в своем расчете!..

Злополучия Академии и членов ее начались вскоре по воцарении Петра П. Лишь только этот государь отправился со своим двором в Москву, Блюментрост оставил Академию и опустевшую гимназию на произвол судьбы и Шумахера, своего усердного, но еще более деспотического секретаря.

Проходили месяцы за месяцами, а предназначенной для Академии суммы и не думали выдавать. Жалованье академикам канцелярия платить перестала, прекратила оплачивать и все другие нужды Академии. Дошло наконец до того, что изобретательный Шумахер ухитрился однажды занять у берг-коллегии железо, якобы необходимое для академических построек, и… продал его в частные руки, – такова была потребность в деньгах!

Но и помимо задержек в выдаче денег Академия все-таки должна была крайне в них нуждаться. Дело в том, что при Академии с первого же года ее существования стали создавать различные, и довольно обширные, мастерские, содержание которых стоило очень дорого. Так, устроены были большая типография со своей словолитнею, переплетная, мастерская для резьбы на камнях; кроме того, приглашены были граверы и живописцы, и к ним определили значительное число учеников, отчего образовались палаты “грыдыровальная” (гравировальная) и рисовальная. Не подлежит никакому сомнению, что все эти мастерские при нашей Академии имели весьма серьезное влияние на распространение разных ремесел и промыслов не только в Петербурге, но и в других русских городах. И тем не менее мы не можем не согласиться со взглядом академиков того времени, что все эти мастерские не должны были устраиваться при Академии наук. Все члены ее вполне признавали пользу для России от учреждения Академии живописи, скульптуры и архитектуры, но считали вредным и бесполезным для Академии наук существование при ней Академии художеств и ремесел.

Конечно, можно весьма красноречиво доказывать, что науки положительно влияют на художества и ремесла, можно, пожалуй, с серьезным видом утверждать, что эти художества и ремесла должны были благотворно воздействовать на общество и подымать в нем уважение к Академии, к науке и ее представителям. Но для всякого здравомыслящего человека такое

соединение науки и ремесла в одно целое останется все же несообразным.

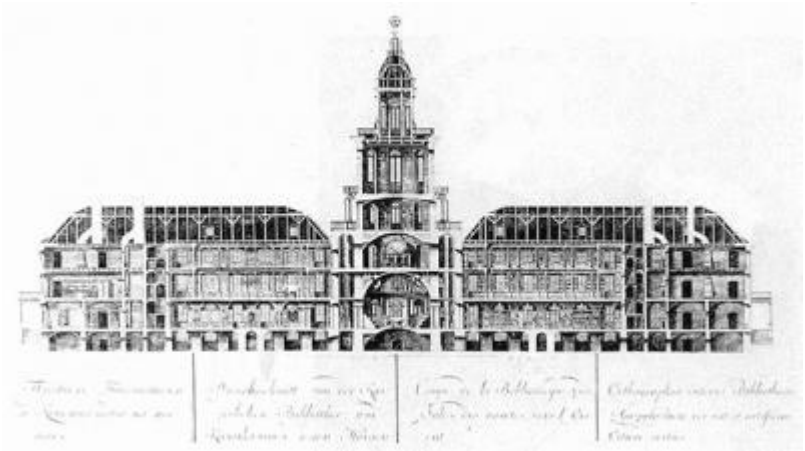
Нашим академикам такое явление казалось не только нелепым, но и прямо нарушающим интересы науки. Суммы, предназначенные Петром Великим собственно на Академию, теперь не были увеличены и стали расходоваться также на указанные обширные мастерские. Правители Академии, не задумываясь, урезали расходы по ученой части, им необходимо было содержать большую канцелярию и развивать мастерские. Ученые нуждались в химической лаборатории, в физическом кабинете, анатомическом театре, в инструментах для обсерватории, но как они ни доказывали важность всего этого для Академии, добиться от канцелярии соответствующих ассигнований не получалось. Да канцелярия и не могла ничего дать: у Академии с первого же года ее существования оказался дефицит, который возрос в 1732 году до громадной по тому времени суммы – 35818 рублей.

Уже в 1729 году наши ученые подавали на имя Петра II прошение, в котором жаловались, что президент унизил их, поручив в свое отсутствие управление Академией Шумахеру, который стал распоряжаться академическими суммами по своему усмотрению и ввел Академию в долги. Затем ученые просили выбрать директора из их среды и ходатайствовали об утверждении академического регламента. Прошение было оставлено без последствий.

Президент Блюментрост хлопотал, уже по возвращении своем из Москвы, у императрицы Анны об устроении хозяйственной части Академии и просил выдать в 1732 году вдвое более денег, чем назначил Петр Великий на содержание ее. Но хлопоты его не увенчались успехом.

Более посчастливилось следующему президенту Академии, Кейзерлингу, вступившему в свою должность 18 июля 1733 года. Ему удалось добиться назначения единовременного пособия в размере тридцати тысяч рублей, которое хотя бы временно облегчило тяжелое положение Академии.

В 1734 году, с 18 сентября, президентом Академии является уже новое лицо – барон Корф, с титулом главного командира Академии наук. И этот начальник, подобно своим предшественникам, старался удовлетворить хозяйственные нужды Академии.



Вид Кунсткамеры в разрезе

В первом представлении его об этом в Сенат он доказывал, что на содержание Академии необходимо 64086 рублей. Из этой суммы предполагалось израсходовать на академическую канцелярию 4900 рублей, на библиотеку и кунсткамеру – 2350 рублей, а на гимназию– всего 3840 рублей; о лабораториях, кабинетах и инструментах, столь необходимых для ученых работ, совсем не упоминалось, и, вероятно, средства для всего этого следовало брать из той тысячи рублей, которая предназначалась “на прочие расходы”… Барон Корф так же, как и все его предшественники, отстаивал необходимость обширной канцелярии и всех заведений по части художеств и ремесел. Сенат, рассмотрев его представление, сократил сумму, им требуемую, чуть ли не на 10 тысяч, причем на гимназию назначил несколько более, а именно 4398 рублей 25 копеек и, получив на это согласие президента, представил доклад императрице 30 июля 1735 года. Но доклад остался без последствий, и президенту так и не удалось дождаться утверждения составленного при нем академического устава. О том, что дела Академии в это время были в очень плачевном состоянии, свидетельствует следующее напоминание барона Корфа о необходимости поспешить с утверждением вышеупомянутого сенатского доклада: “Ежели Академия скорой помощи не получит и не приведена будет в надлежащее и определенное состояние, то имеет она, без сомнения, разрушиться и толь многие тысячи купно с оною честию, которую Академия у иностранных себе получила, пропадут без всякия пользы”. Императорский кабинет ограничился в ответ на это только единовременным пособием: в первый раз оно составило 10 тысяч, а во второй – 20 тысяч. Но

такие паллиативные, временные меры, конечно, не приводили и не могли привести Академию в лучшее состояние.

Гимназия, которая была основана вскоре по учреждении Академии, во времена барона Корфа находилась в самом жалком положении. С отъездом Петра II она совсем опустела. Все кто могли покидали тогда нелюбимый Петербург и переселялись со своими семействами на жительство в Москву. С этих пор в академическую гимназию “знатные люди” перестали отдавать своих детей, и она стала существовать только для бедняков. Ученики жили на своих квартирах и весьма часто совсем не являлись в школу; бывали дни, когда в ней находили одного-двух воспитанников, а нередко и ни одного. Понятно, что такая гимназия не могла дать достаточно подготовленных слушателей для университета. Ненадежным поставщиком студентов являлась и Московская академия. Оставалось вместе с учеными выписывать из-за границы и студентов, к чему и прибегали на первых порах. При открытии Академии было вывезено из Германии восемь студентов, из которых впоследствии четверо сделались академиками. Отсутствие слушателей заставляло профессоров волей-неволей читать лекции друг для друга; действительными слушателями являлись адъюнкты, а профессора ходили на лекции товарищей из любопытства и больше “для вида”.

Барон Корф, хорошо понимая, что при таком положении гимназии и университета нельзя мечтать о распространении просвещения в России, обратился к Сенату: “Не соблаговолено ли будет приказать, чтобы из монастырей, гимназий и школ в здешнем государстве двадцать человек чрез означенных к тому от Академии людей выбрать, которые столько научились, чтоб с нынешнего времени они у профессоров сея Академии слушать и в вышних науках с пользою происходить могли”. Сенат дал свое согласие и указал при этом на Заиконоспасский монастырь. Барон Корф, очевидно, принимавший близко к сердцу все это дело, не замедлил обратиться к архимандриту этого монастыря Стефану с просьбою прислать отроков “добрых, которые бы в приличных к украшению разума науках довольное знание имели и вам бы самим честь и отечеству пользу учинить могли”. Архимандрит избрал 12 учеников “остроумия не последнего” и препроводил их в Петербург.

В числе этих 12 юношей был и Ломоносов, которого, вероятно, посвятили бы в священнический чин и отправили бы в Корелу, если бы не столь неожиданный и счастливый случай.

2 января 1736 года Ломоносов вместе с 11 товарищами был представлен в Академию наук отставным прапорщиком Василием Поповым, который и привез их из Москвы.

В Петербурге Михаил Васильевич пробыл только до осени. Вот как это случилось.

Еще в 1735 году барон Корф старался приискать за границей астронома и химика, сведущего и в горном деле, для отправления их в ученое путешествие по Сибири. Астронома удалось найти, а химика – нет. Когда начальник Академии обратился за рекомендацией к Иоганну Фридриху Генкелю, доктору и горному советнику, пользовавшемуся большою известностью, то этот последний прямо объявил, что такого химика указать не может, и предложил прислать к нему для обучения нескольких молодых людей, достаточно подготовленных к слушанию лекций. Это предложение было принято, Сенат утвердил доклад барона и выделил 1200 рублей на годичное содержание и обучение трех молодых людей – Виноградова, Ломоносова и Райзера. Но Генкель потребовал за обучение их такую сумму, которой Академия не располагала. Тогда барон Корф обратился к известному уже нам Вольфу. Тот дал свое согласие, и наши юноши, получив подробную инструкцию, как им обучаться и вести себя, 8 сентября 1736 года отправились на корабле в Германию. Сильная буря заставила их вернуться. Только 23 числа того же месяца им удалось выехать из Кронштадта, а 3 ноября они уже прибыли в Марбург к Вольфу.

Вид города Марбурга. XVIII века.

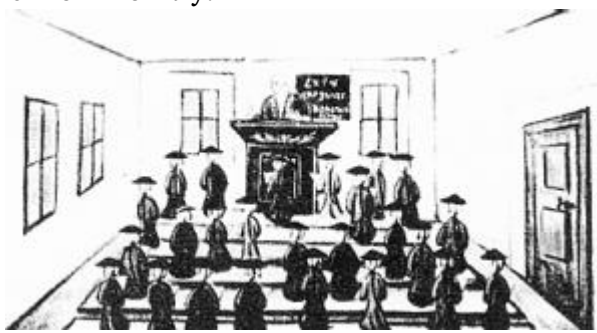
Здесь-то и получил Ломоносов свое обширное и основательное образование. У Вольфа он слушал философию, логику, математику и физику, а у профессора Дуйзинга занимался химией. Из отзывов, которые были выданы этими профессорами Ломоносову, когда он отправлялся во Фрейберг к горному советнику Генкелю, ясно следует, что Михаил Васильевич отдался научным занятиям со страстным увлечением.

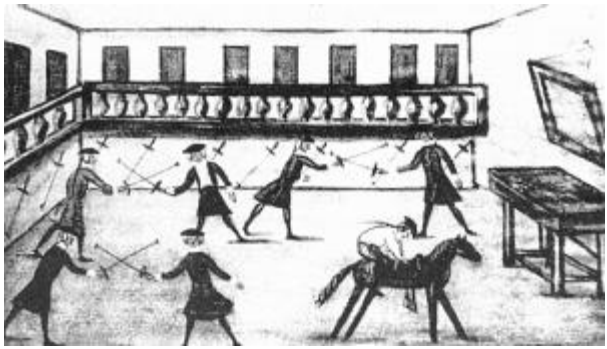
Оба профессора в самых лестных выражениях говорят о его прилежании, о любви к науке и основательности, с какою он приобретал научные познания. Всю жизнь потом Ломоносов с теплым чувством и глубоким уважением вспоминал своего знаменитого учителя Вольфа. Он называл его своим благодетелем, перевел его экспериментальную физику на русский язык и постоянно переписывался с ним по приезде в Россию. От Вольфа Ломоносов усвоил тот взгляд на науку, который так определенно высказывается в его ученых трудах.

Уже 4 октября 1738 года он послал в Академию донесение на немецком языке о лекциях, которые он посещал, и о приобретенных им книгах; к этому донесению он приложил свое первое ученое рассуждение по одному из вопросов физики и стихотворный перевод оды Фенелона, воспевающей счастье сельского уединения вдали от сутолоки городской жизни, под кровом муз. Перевод сделан четырехстопным хореем, – размер, как известно, введенный у нас Тредиаковским. Хотя видно, что Ломоносов в своих стихах подражает этому последнему, но все-таки, при всей тяжеловесности своей, они благозвучнее стихотворных произведений Тредиаковского.

В 1739 году Ломоносов посылает в Академию две новые диссертации, одну по физике, а другую по химии.

Но если Ломоносов обязан Марбургскому университету своими обширными познаниями в науках и солидным умственным развитием, то здесь же, среди студенческой молодежи, развились и слабые стороны его характера, особенно пристрастие к крепким напиткам, от которого наш ученый не мог отделаться в течение всей своей жизни и которое и свело его преждевременно в могилу.





Сценки из жизни студентов немецкого университета XVIII века. Акварель

Студент немецкого университета. Акварель XVIII в.

Студенческая молодежь германских университетов того времени не умела, да отчасти и теперь еще не умеет, находить отдых от утомительных ученых занятий в скромных развлечениях, способных наряду с доставляемым удовольствием

облагораживать юные души. Все свободное время, весь избыток молодых, горячих сил студенты безрассудно тратили на карточную игру и бесшабашные попойки, сплошь да рядом сопровождавшиеся буйством, всевозможными подвигами здоровенных мускулов и грубыми чувственными наслаждениями.

В такую-то разгульную среду попадают наши юноши. Заметьте, что двое из них, Виноградов и Ломоносов, собственно, не получили никакого воспитания. Заиконоспасская школа могла обучить их латинскому языку и кое-чему из наук, но отнюдь не взрастить в них гуманное начало, способное управлять страстями и подавлять проявления грубых инстинктов. Здоровый, высокий, широкоплечий, недюжинно сильный бурсак Ломоносов и почти такой же его товарищ Виноградов, приехав в Марбург, впервые вкусили всю сладость бесконтрольной свободы. До этого они по нескольку лет просидели в четырех стенах, голодая и терпя всевозможные лишения. В последний год каждому из них на все потребности выдавалось по четыре денежки в день. Теперь все переменилось. Весь вечер твой, делай с ним что хочешь, в кармане звенят деньги, и не медяки какие-нибудь, а рублевики и золотые: им ведь выдали по 300 рублей на человека, вперед за год. Вокруг студенты-немцы кутят и веселятся. Как же им было не примкнуть к товарищам, не увлечься бешеным разгулом?! Какая сила могла их удержать?! Вероятно, вялый, хотя и благовоспитанный Райзер, вместо того чтобы остановить товарищей, сам идет за ними, подчиняется их настроению.

И вот все трое неудержимо предаются кутежу, и, конечно, со всеми безобразиями, на какие способен, кажется, один подгулявший русский человек. Цены деньгам они не знали, обращаться с ними не умели и тратили их без зазрения совести. Конечно, должны были прийти и вскоре пришли тяжелые дни, когда в их карманах не оказалось ни гроша. Но в университетских городах Германии студент с давних пор пользовался кредитом. Раздобыли его и наши молодые люди, однако отказаться от разгула им было уже нелегко. Их руководитель Вольф заметил, что они покучивают. Добродушный немец, вероятно, сделал им отеческое наставление и этим ограничился. Впрочем, он написал в Академию, что “не мешало бы напомнить им, чтобы они были бережливее, а то в случае отозвания их окажутся долги, которые могут замедлить их отъезд”.

Академия не замедлила послать свое наставление: “…вообще не тратить денег на наряды и пустое щегольство… остерегаться делать долги” и так далее. Весьма понятно, что и это наставление не возымело надлежащего действия. К1739 году у студентов уже было долгу 1370 рейхсталеров. Вольф, извещая Академию об этом

печальном факте, присовокупляет: “Лучше всего будет, конечно, если они оставят университет и поступят к химику, потому что у него они не будут иметь той свободы, которой их в университете никак нельзя лишить”.

Академия последовала этому совету знаменитого профессора и решила перевести студентов во Фрейберг к Генкелю, который должен был обучать их металлургии и вообще горному делу.

Вот как описывает Вольф отъезд нашей молодежи из Марбурга: “Студенты уехали отсюда 20 июля (1739 года) утром, после 5 часов, и сели в экипаж у моего дома, причем каждому при входе в карету вручены деньги на путевые издержки. Из-за Виноградова мне пришлось еще много хлопотать, чтобы предупредить столкновения его с разными студентами, которые могли замедлить отъезд. Ломоносов также еще выкинул штуку, в которой было мало проку и которая могла послужить только задержкою, если бы я, по теперешнему своему званию этого… Причина их долгов обнаруживается лишь теперь, после их отъезда. Они чрез меру предавались разгульной жизни и были пристрастны к женскому полу.

Пока они еще сами были здесь налицо, всякий боялся сказать про них что-нибудь, потому что они угрозами своими держали всех в страхе… Когда они увидели, сколько уплачивалось за них денег (около двух тысяч рейхсталеров), и услышали, какие им делали затруднения при переговорах о сбавке, тогда только стали они раскаиваться и не только извиняться предо мною, что они наделали мне столько хлопот, но и уверять, что впредь хотят вести себя совершенно иначе и что я нашел бы их совершенно другими людьми, если бы они только ныне явились в Марбурге. Я убеждал их, что им теперь необходимо опять загладить свой проступок пред вашим превосходительством (то есть бароном Корфом) и Академией наук, а что обо мне им нисколько не нужно беспокоиться. При этом особенно Ломоносов от горя и слез не мог промолвить ни слова…”

Не правда ли, какая прелесть это простое, безыскусственное письмо, а ведь почтенный профессор все-таки писал своему начальству, ведь он состоял членом нашей Академии и получал ежегодный пансион в 300 талеров! Сколько добродушия, сколько снисходительности, сколько отеческой ласки сквозит в этом письме и особенно в этих словах: “…обо мне им нисколько не нужно беспокоиться”. Так и видится, как знаменитый ученый, убеленный сединами, стоит перед этой напроказившей молодежью и на тонких губах его играет добрая улыбка: “Ну что ж, молодость должна быть молодостью!..”

Круто пришлось нашим студентам во Фрейберге у Генкеля.

Барон Корф написал ему весьма определенную инструкцию: “Эти три лица в прилежании и успехах своих очень не равны между собою; в мотовстве же как бы превосходят друг друга… Вследствие этого Академия наук нашла себя вынужденною уменьшить отныне стипендию трех студентов и каждому из них, вместо прежде назначенных в год 300 рублей, выдавать на содержание только половину, то есть 150 рублей”. Письмо заканчивалось просьбою к Генкелю, “чтобы то, что должно быть израсходовано на студентов, было уплачено вами самими тем, кому следует; студентам же, кроме одного талера в месяц, назначенного им на карманные деньги и разные мелочи, не выдавать никаких денег на руки, а между тем объявить везде по городу, чтобы никто им не верил в долг, ибо если это случится, то Академия наук за подобный долг никогда не заплатит ни одного гроша…”

Сначала отношения между Генкелем и студентами были хорошие. Ломоносов усиленно занялся металлургией. Кроме того, в течение четырех месяцев он переводил и составлял различные экстракты по соляному делу для Готлиба Фридриха Вильгельма Юнкера, члена нашей Академии, приехавшего во Фрейберг для изучения соляного промысла и впоследствии состоявшего надзирателем соляных заводов в Бахмуте.

Тогда же Ломоносов сочинил оду по случаю взятия русскими войсками турецкой крепости Хотин. В этой оде заметно подражание немецкому поэту Гюнтеру, а отчасти и Буало. Она написана ямбами, размером, до того времени небывалым в русских стихотворениях, и по языку стоит много выше последних. Ломоносов, посылая свое произведение в Академию наук, приложил к нему большое письмо, в котором рассказывает, как он начал писать стихи тоническим размером, и приводит образчики своих опытов. Между прочим он пишет: “Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не токмо бодростию и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную версификацию иметь может”, и затем он пускается в описание красот различных размеров.

С начала 1740 года отношения между Генкелем и Ломоносовым начинают портиться и скоро доходят до полного разрыва.

Генкель сам видел, что его “ученикам нет никакой возможности изворачиваться двумястами рейхсталеров в год”, – двумястами, так как ему удалось уже выхлопотать студентам прибавку в 50 талеров. Но аккуратный берграт[4] строго держался указаний, полученных им от Академии наук, и на просьбы

Ломоносова дать ему денег отвечал решительным отказом. Это и повело к ссоре, закончившейся тем, что Михаил Васильевич, никого не спросясь, покинул Фрейберг.

И Генкель, и Ломоносов в письмах своих в Академию, к Шумахеру, не пожалели красок, представляя друг друга в самом непривлекательном виде. Первый распространялся о пьянстве, буйстве, драках, неприличной брани второго и даже о "подозрительной переписке" с какой-то марбургской девушкой. Второй изобразил первого злым, алчным, хитрым, завистливым и даже малосведущим… "Сего господина могут почитать идолом только те, которые коротко его не знают. Я же не хотел бы променять на него свои хотя и малые, но основательные знания и не вижу причины, почему мне его почитать своею путеводною звездою и единственным своим спасением. Самые обыкновенные процессы, о которых почти во всех химических книжках говорится, он держит в секрете и сообщает их неохотно…", и так далее.

Из Фрейберга он отправился в Лейпциг, где надеялся встретить русского посланника барона Кейзерлинга. Но дипломат выехал уже из Лейпцига в Кассель. Ломоносов отправился туда же, но и тут ему не удалось застать нашего посланника. Волей-неволей пришлось возвратиться в Марбург, где у него были друзья, на помощь которых он рассчитывал. Здесь с ним произошло событие, о котором он потом молчал целых два года. В марбургской реформатской церкви сохранилась следующая запись в церковной книге: "6 июня 1740 года обвенчаны Михаил Ломоносов, кандидат медицины, сын *архангельского торговца* Василия Ломоносова, и Елизавета Христина Цильх, дочь умершего члена городской думы и церковного старосты Генриха Цильха".

Нужда в деньгах и потеря всякого кредита не дали Ломоносову возможности успокоиться и насладиться семейным счастьем. Вскоре он отправился во Франкфурт, а оттуда водою в Роттердам и Гаагу. Граф Головкин отказал ему в помощи, совсем не желая ввязываться в дело. Ломоносов добрался до Амстердама, где и встретил нескольких знакомых купцов из Архангельска. Купцы отсоветовали ему без приказания Академии возвращаться в Петербург, разъяснив весь риск и опасность такого далекого путешествия. Молодой ученый решил вторично вернуться в Марбург и просить Генкеля о присылке денег.

На обратном пути с ним приключилась пренеприятная история, которую мы расскажем со слов Штелина. Как мы уже говорили, к повествованиям его необходимо относиться с большой осторожностью. Но в этом рассказе, как показывают

многие факты, имеется значительная доля правды.

“По дороге в Дюссельдорф в расстоянии двухдневного пути от Марбурга зашел он (Ломоносов) на большой дороге в местечко, где хотел переночевать в гостинице. Там нашел он королевско-прусского офицера, вербующего рекрут, с солдатами и с несколькими новобранцами, которые весело пировали. Наш путешественник показался им приятною находкою. Несчастная слабость Ломоносова к спиртным напиткам сослужила и здесь свою скверную службу. Они принялись угощать его ужином, все время подливая вина в его стакан и расхваливая королевско-прусскую службу. Ломоносов напился до такой степени, что на другой день не мог припомнить, как он провел ночь. Неприятное было пробуждение. На шее у него был уже надет красный галстук, а в кармане звенели прусские монеты. И вот через несколько дней Ломоносов очутился в качестве королевско-прусского рейтара в крепости Везель. Само собою разумеется, что наш молодой ученый с первого же дня стал обдумывать свой побег. За ним постоянно следили. Он притворился в высшей степени довольным своим новым положением, и, конечно, надзор за ним немного ослабел. Он спал в караульне, заднее окно которой выходило прямо на крепостной вал. Он каждый вечер заранее ложился спать на свою скамейку, так что высыпался довольно, когда его товарищи едва засыпали, и всегда искал случая убежать. Однажды он проснулся около полуночи. Все спали глубоким сном. Кошкой выполз он из своего окна, на четвереньках взлез на вал, спустился с него, бесшумно переплыл через ров, опять взобрался на вал, также переплыл через второй ров, потом вскарабкался на контрэскарп, перелез через частокол и палисадник и с гласиса выбрался в открытое поле. Дремавшие часовые прозевали его. Во что бы то дело ни стало нужно было до рассвета достигнуть вестфальской границы, а она отстояла на целую немецкую милю. Мокрая шинель и платье мешали идти. Забрезжил рассвет, и вдруг раздался с крепости пушечный выстрел – обычный сигнал, возвещавший о побеге солдата. С новой энергией бросился бежать измученный Ломоносов. Он оглянулся. Позади него по дороге мчался во весь карьер догонявший беглеца кавалерист. Но смельчак уже перешагнул границу и очутился в вестфальской деревне. Однако остаться в ней ему мешал страх, – он спрятался в ближайшем лесу, снял мокрое платье, развесил его, чтобы просохло, а сам, совсем обессиленный, свалился на землю и проспал до сумерек”.

Вернувшись наконец в Марбург, он снова обратился за деньгами к Генкелю и получил вторичный отказ на свою просьбу. Тогда-то он и писал к Шумахеру, столь резко отзываясь об ученом

берграте. Вскоре Академия через Вольфа прислала Ломоносову вексель в сто рублей с приказанием немедленно вернуться в Петербург. Почтенному профессору опять пришлось хлопотать о своем ученике, в котором он видел будущее светило науки. Ему пришлось поручиться за Ломоносова в связи с его долгами, так как ста рублей едва хватало на экипировку и поездку.

Штелин рассказывает, что Ломоносов, когда плыл морем, возвращаясь в свое отечество, видел вещий сон. Ему приснилось, что отец его, потерпев кораблекрушение, выброшен мертвым на берег необитаемого острова в Белом море. Остров не имел даже названия, но Ломоносов хорошо его помнил, так как однажды буря прибила к нему их судно. Возвратившись в Петербург, он вскоре узнал, что отец его пропал без вести. Тогда Ломоносов послал письмо к знакомым рыбакам, в котором сообщал им, где искать труп его несчастного отца, и умолял, найдя его, предать погребению. Рыбаки, следуя советам Ломоносова, вскоре нашли на этом именно острове мертвое тело Василия Дорофеевича и там же похоронили его.

8 июня 1741 года Ломоносов приехал в Петербург. Жена же его осталась в Марбурге на произвол судьбы. О ней он вспомнил и выписал ее к себе только через два года.

Это одна из темных страниц в жизни нашего знаменитого ученого, хотя и существуют, как увидим, некоторые извиняющие его обстоятельства.

ГЛАВА III

Ученые занятия Ломоносова. – Ода Иоанну VI Антоновичу. – Новые диссертации. – Вступление на престол Елизаветы Петровны. – Прошение на высочайшее имя. – Ломоносов – адъюнкт Академии. – Предложение устроить химическую лабораторию. – Отношение к Шумахеру. – Избиение немцев. – Последствия боя для Ломоносова. – Арест Шумахера. – Мартов. – Донос на Шумахера академических служителей, студентов и переводчиков. – Ломоносов присоединяется к доносителям. – Новая ода. – Решительные действия академиков. – Неприличное поведение Ломоносова. – Его арест. – Шумахер вновь управляет Академией. – Прощение Ломоносова "для его довольного обучения". – Половина оклада. – Ломоносов извиняется перед академиками. – Занятия его под арестом. – Приезд жены из Германии

Вернувшись в Петербург, Ломоносов несколько дней спустя уже засел за работу. Сначала он стал заниматься естественной историей с академиком Амманом, который распоряжался коллекциями по естественным наукам, а затем молодому ученому было поручено закончить каталог минералогического отдела этих собраний.

В это же время, а именно ко дню рождения малолетнего императора Иоанна VI Антоновича, 12 августа 1741 года, Ломоносов написал оду, которая была напечатана в тогдашних "Примечаниях к "Петербургским ведомостям". В ней Ломоносов описывает, как "веселящаяся Россия" лобзает очи, ручки и ножки императора. Касательно последних поэт выражает такое желание:

В Петров и Аннин след вступите.

Для России действительно могло быть полезно, если бы юный монарх пошел по стопам Петра; но вряд ли нашему отечеству могло улыбаться возвращение времен Анны Иоанновны и ее фаворита Бирона. Впрочем, Ломоносов как-то отделяет государыню от ее министра и по адресу последнего посылает ряд сильных и весьма нелестных выражений.

Вскоре после 23 августа, дня победы над шведами при Вильманстранде, наш поэт напечатал в тех же "Примечаниях" хвалебное стихотворение под заглавием "Первые трофеи Его Величества Иоанна VI".

Бесспорно, стихи Ломоносова, и указанные в особенности, кажутся в настоящее время холодными и напыщенными, тяжеловесными и неуклюжими. Но если вспомнить стихотворения и прозаические произведения, которые подносились до этого

времени русскому читателю, то становится вполне понятным, какими благозвучными по языку и глубокими по мысли должны были показаться тогда эти первые печатные опыты Ломоносова. Они сразу привлекли к себе всеобщее внимание. С этого же времени и Академия стала уважительнее относиться к молодому ученому.

24 августа Ломоносов представил на прочтение академиков две новые диссертации, одну по физике и другую по химии. Он надеялся, что их одобрят, а их автора, согласно данному Академией обещанию при отправке его за границу, произведут в экстраординарные академики.

Но месяцы сменялись месяцами, а наш ученый не получал никакого назначения. В ожидании он занялся переводами статей академика Крафта для вышеуказанных “Примечаний”. Эти переводы, отличающиеся ясностью и правильностью языка, он подписывал двумя буквами: К. (Крафт) и Л. (Ломоносов).

Наконец, 25 ноября 1741 года вступила на престол императрица Елизавета. Анна Леопольдовна с малолетним сыном-императором и отцом-генералиссимусом очутились в заточении. Шумахер в это время стал полновластным распорядителем Академии, так как Карл Бреверн, сменивший барона Корфа, был уволен от должности и Академия оставалась без президента. Сообразительный и ловкий Шумахер с рвением, достойным лучшей доли, старательно уничтожил все посвящения в книгах низложенному императору и его матери, их портреты и даже упоминания о них. Этот секретарь канцелярии рано почувствовал легкое колебание почвы под ногами. Еще задолго до воцарения новой императрицы в народе, не только в Петербурге, но и в отдаленных местах России, какова, например, Сибирь, ходили упорные слухи, что на престол взойдет цесаревна Елизавета и что эта дочь Петра Великого не благоволит к иноземцам и не позволит им угнетать русских. Такой взгляд на Елизавету Петровну с восшествием ее на престол перешел во всеобщее убеждение.

Иностранцы перетрусили, в том числе и Шумахер. Ему казалось необходимым чем-нибудь заявить о своих верноподданнических чувствах и приверженности престолу. Штелин выручил своего собрата, написав оду, конечно, по-немецки. Теперь этому официальному одописцу предшествовавших царствований, после стольких прославлений императрицы Анны, ее племянницы, Бирона и даже всех членов его семьи, пришлось в высокопарных выражениях уверять, “что именно в те самые времена, которые он до того воспевал как райское блаженство, музы были в страхе, виднелись грозные

волны бед и все будто восклицали:

Избавь, избавь российску кровь
От злого скорбных дней начала!..”

Но не будем слишком строги к Штелину, а вместе с ним и к Ломоносову, который переложил его оду русскими стихами. В те времена ни у нас, ни в Европе поэзия еще не занимала самостоятельного высокого положения. Она рассматривалась еще в качестве простого ремесла. Писать надгробные и хвалебные речи, стихи королям и высокопоставленным лицам, торжественные оды на разные события и так далее считалось делом обычным и отнюдь не зазорным. Существовала даже такса, определяющая вознаграждение за такие произведения. Так, в Марбурге за них платилось обыкновенно по 12 талеров. “Удивительно ли, – замечает профессор Сухомлинов, – что Ломоносов, по примеру тогдашних ученых и литераторов, привык смотреть на торжественную лирику как на официальную обязанность?”

Но все-таки признание за собою такой официальной обязанности и сочинение хвалебных од малолетнему Иоанну VI и вслед за тем свергнувшей его Елизавете может быть объяснено только полнейшим политическим безразличием вместе с желанием выдвинуться с помощью сильных мира сего.

Как бы ни было, новое стихотворное произведение Ломоносова произвело впечатление на все общество, понравилось и при дворе.

Ободренный таким успехом и убежденный в том, что императрица не намерена покровительствовать иноземцам, Ломоносов решается подать прошение на высочайшее имя о произведении его в академики. На этот раз прошение возымело надлежащее действие. Шумахер поторопил академиков высказать свое мнение о диссертациях Ломоносова. 8 января 1742 года секретарь канцелярии уже подписал следующее постановление: “Понеже сей проситель, студент Михаиле Ломоносов, специмен своей науки еще в июле месяце прошлого 1741 году в конференцию подал, который от всех профессоров оной конференции так аппробован, что сей специмен и в печать произвесть можно; к тому ж покойный профессор Амман его, Ломоносова, канцелярии рекомендовал; к тому же оный Ломоносов в переводах с немецкого и латинского на российский язык довольно трудился, а жалованья и места поныне ему не определено; то до дальнего указа из правительствующего Сената и нарочного Академии определения быть ему, Ломоносову,

адъюнктом физического класса. А жалованья определяется ему с 1742 года января с 1 числа по 360 рублей на год, счисляя в то число квартиру, дрова и свечи…”

Такое жалованье было далеко не ничтожным. В то время в Петербурге фунт говядины стоил полторы-две копейки; соответственно с этим были дешевы и все остальные продукты. В 1741 году Эйлер, покидая столицу, продал свой дом, в котором жил со всею многочисленною семьей, всего за 300 рублей и находил, что совершил эту продажу очень удачно.

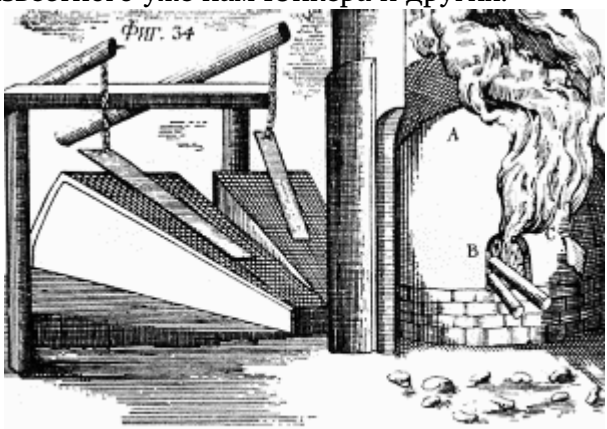
Ломоносов мог бы недурно существовать на свое жалованье, если бы оно выплачивалось аккуратно. Но в том-то и была вся беда, что Академия не располагала деньгами и за весь 1742 год выдала нашему ученому, и то после его усиленных просьб, только около одной трети вышеуказанной суммы, по 5-10 рублей за раз. Волей-неволей Ломоносову приходилось должать где только можно было. Конечно, при таких условиях ему затруднительно было выписать из Марбурга жену с ребенком.

Вступив в должность, Ломоносов почти тотчас же предложил устроить химическую лабораторию, которой до сих пор еще не было при Академии наук. Но на это первое предложение не обратили никакого внимания. Молодому ученому пришлось в течение целых восьми лет доказывать необходимость лаборатории для химии и неоднократно подавать свои прошения, пока, наконец, летом 1748 года не приступили к возведению здания лаборатории, на что были отпущены деньги из императорского кабинета.

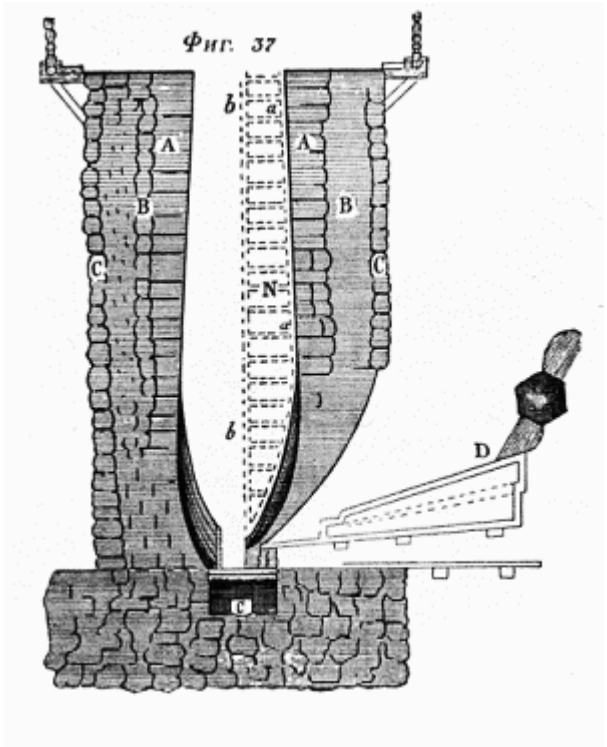
Символы химических элементов. Гравюра из руководства по химии первой половины XVIII в.

Инструментарий химической лаборатории. Гравюра из руководства по химии первой половины XVIII в.

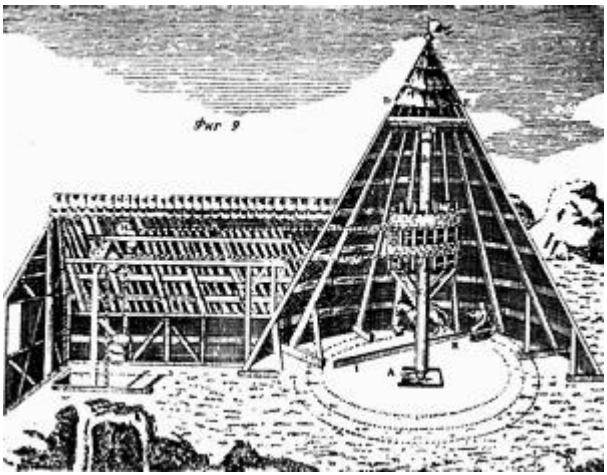
Сначала Ломоносов был в дружественных отношениях с Шумахером и прочими немцами. В ожидании, когда будет устроена столь необходимая для него лаборатория, он занялся составлением “Первых оснований металлургии, или рудных дел”; затем перевел целый ряд статей Крафта для “Примечаний к “Петербургским ведомостям”; занятия его литературой также не прекращались: он писал оду за одой, пользуясь всяким подходящим случаем, а также переводил стихами произведения Штелина, известного уже нам Юнкера и других.



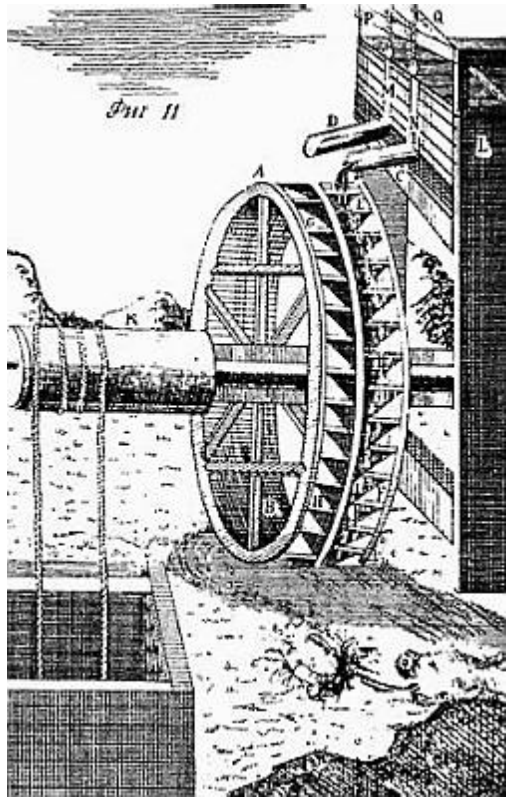
Плавильная печь. Гравюра из книги Ломоносова “Первые основания металлургии”, 1763



Доменная печь. Гравюра из книги Ломоносова “Первые основания металлургии”, 1763



Устройство для подъема руды и породы из рудника конной тягой. Гравюра из книги Ломоносова “Первые основания металлургии”, 1763



Устройство для подъема руды и породы из рудника с помощью водяного колеса. Гравюра из книги Ломоносова “Первые основания металлургии”, 1763

Шумахер был очень доволен Ломоносовым и говорил про него, что “если бы только не было у него одного недостатка, то от него должно было бы ожидать много хорошего”. Но вскоре характер отношения Ломоносова к иноземцам в Академии резко изменился. 26 сентября 1742 года наш знаменитый писатель, под влиянием, конечно, винных паров, произвел крупное побитие немцев. Вот как это произошло.

Ломоносов забрался в кухню своего соседа, академического садовника Штурма, занимавшего квартиру в том же самом доме, в котором были отведены две каморки и для Михаила Васильевича по приезде его из-за границы. В кухне была новая кухарка Штурма – Прасковья Васильевна, жена канцелярского солдата Василия Арлукова. О том, какого рода беседа происходила между нашим поэтом и указанной женщиной, документальных данных не сохранилось. Только вскоре Ломоносов вошел в комнату к Штурму, у которого в это время собрался кружок сослуживцев, и с

негодованием заявил хозяину, что у него “нечестивые гости сидят: епанчу его украли”. На это отвечал лекарь ингерманландского полка Брашке, что Ломоносову “непотребных речей не надлежит говорить при честных людях”. Тогда Ломоносов, не долго думая, ударил лекаря по голове, схватил “на чем парики вешают и начал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти”… Штурм выскочил из окна, выбежал на улицу и стал кричать караул; его примеру последовал словолитный мастер Битнер. Штурм возвратился с шестью караульными солдатами. К этому времени Ломоносов успел уже жестоко переколотить гостей академического садовника. Его беременная жена, с подбитым глазом и синяками на плечах и руках, решилась тоже выскочить из окна. Особенно досталось тестю Штурма, переводчику Ивану Грове и академическому бухгалтеру Прейсеру, которые были биты до полусмерти и слегли потом в постель. Оказалась здорово поколоченной и вышеупомянутая служанка Прасковья, которая, собственно, и была поводом, как Елена Прекрасная, к столь кровопролитному сражению. Ломоносову под натиском шести караульных солдат пришлось уступить. Его отправили на съезжий двор, откуда капитан Матюнин при “репорте” представил его в полицейскую канцелярию, а эта последняя “с промеморией отправила его в Десьянс Академию”. Ломоносов, вместо того чтобы явиться в академическую канцелярию, прямо пошел к себе на квартиру и слег в постель. Битва не прошла для него даром. Когда канцелярия потребовала его к ответу, наш поэт “объявил, что ему итти в канцелярию никак невозможно, понеже он ногою и другими членами весьма болен”, и просил прислать доктора. Пришедший к нему доктор Вильде писал потом в своем рапорте между прочим следующее: “А как его спросил, чем он неможет, то отвечал он мне на сие, что у него почти все члены болят, а особливо чувствует в грудях лом и плюет кровью. Притом же показал он мне левое колено, которое совсем распухло, так что тою ногою ни ступить, ни ходить не может. Еще показал он мне рубец на брюхе по левую сторону, про что он сказывал, что в том месте рублено шпагою. Еще видел я у него на правой руке на ладони рубец, и притом припухлый и синий глаз. Понеже вышеозначенный адъюнкт Ломоносов за распухлым коленом вытти из квартиры не может, а особливо для лома грудного сего делать отнюдь ему не надлежит, того ради во-первых для отвращения харкания кровью надобно принимать ему потребные к тому лекарства, и притом советую ему пустить кровь…”

Неизвестно, последовал ли наш адъюнкт этому совету, но мощный организм Ломоносова в самом непродолжительном

времени справился со всеми этими непустячными повреждениями. 11 октября тот же Штурм подал в канцелярию Академии наук “покорнейшее прошение”, в котором он сообщил, что Ломоносов навел на него “великий страх, ибо он 8 числа сего месяца двум его девкам сказал, что ему руку и ногу переломит и таким образом его убить хочет”. Затем Штурм ходатайствовал, чтобы Ломоносов дал ему “надежных порук”, что он его оставит в покое.

Со стороны канцелярии за все это безобразное буйство Ломоносов не был подвергнут никакому наказанию: 7 октября 1742 года произошла крупная перемена в управлении нашей Академией.

Еще в конце 1734 года, когда барон Корф только что вступил в должность “главного командира” Академии и в первый раз присутствовал на академическом собрании, астроном Жозеф Никола Делиль в своей приветственной речи новому президенту довольно обстоятельно изложил весь вред, происходящий оттого, что наши академики находились в полной “зависимости от канцелярии и подчинены ей даже по таким делам, по которым решение могли дать только специалисты и ученые”. “А что больше жалобы достойно, – замечает Делиль, – оная канцелярия неправедным образом взяла команду и над Академией наук и во всем определяет сама собою. К сему якобы вышнему суду надлежит идти просить милости для вспомоществования во всяких потребностях и выходатайствовать выдачу жалованья и прочих расходов и иждивений, которые часто для Академии учинить надобно, которой выдачи только тогда и иметь можно, когда деньги после расходу на ремесленных людей останутся за излишеством…”

Барон Корф, этот великий охотник до книг для своей библиотеки, не внял представлению Делиля. Ловкий Шумахер, отлично знавший о легком способе составлять обширные библиотеки в долг, вскоре добился влияния на нового президента и стал пользоваться безусловным его доверием. Понятно, что Делиль впал в немилость и под конец вынужден был совсем прекратить посещение академических заседаний. А Шумахер, по представлению барона Корфа в императорский кабинет, был произведен в советники канцелярии и принял на себя хранение всех денежных сумм Академии, под своим ключом и печатью. Все родственники и свойственники нового академического советника не замедлили получить повышения и разные прибавки жалованья.

За все это он сумел отблагодарить достойным образом своего покровителя. Спустя несколько месяцев после того, как барон Корф в апреле 1740 года получил дипломатическое назначение и

уехал из Петербурга, Шумахер представил в коллегию иностранных дел документ о взыскании с бывшего президента 4339 рублей 40 копеек, которые числились за ним в академической книжной лавке.

Замечательно, что лет через 15 после этого барон Корф высказал мнение, которого он совсем не держался, когда стоял во главе управления Академией. Он назвал канцелярию “ярмом для Академии”, а Шумахера – “неученым сочленом и канцелярским деспотом”.

С воцарением Елизаветы Петровны наступило тревожное время для Шумахера. Тогда Академия была без президента: Бреверн, заместитель барона Корфа, вышел в отставку. Вражда русских к иноземцам стала проявляться явно. Академия, в которой все места, кроме самых незначительных, были заняты немцами, не могла пользоваться сочувствием и со стороны правительственных сфер. Сообразительный Шумахер все это отлично понимал и пустил в ход всю свою ловкость и пронырливость, чтобы подыскать “важное лицо в президенты, из-за спины которого деспотическому советнику удобно было бы по-прежнему самовластно распоряжаться ученым обществом”. Эти хлопоты в самом разгаре своем были прерваны донесением Делиля, а потом Нартова, в Сенат.

Сущность донесения вышепоименованного астронома та же, что и его приветственной речи барону Корфу, о которой мы уже говорили. Токарь же Петра Великого, Андрей Константинович Нартов, состоявший при Академии в звании советника, в своей жалобе писал об обидах, учиненных ему Шумахером. Токарь считал себя членом Академии, а советник канцелярии в изданном им описании под заглавием “Палаты Академии” имени Нартова в числе академиков не поместил. Все донесение этого чиновного токаря было написано весьма нетолково. Проступки, в которых он обвинял Шумахера, были изложены неопределенно и никак не доказывались; кроме того, в обвинениях Нартова бросалось в глаза его оскорбленное самолюбие. Вероятнее всего, что и это донесение осталось бы без последствий, если бы петровский токарь в июле того же 1742 года не поехал сам в Москву к государыне, захватив с собою донесение на Шумахера трех академических служителей: комиссара Камера, канцеляриста Грекова и копииста Носова. В это же время студенты Пухорт, Шишкарев и Коврин, ученик гравера Поляков и переводчики Горлицкий и Попов послали также свое прошение к императрице.

Все эти лица утверждали, что Шумахер присвоил себе несколько десятков тысяч рублей из академических сумм, что он враг русского народа и что, наконец, всячески, и притом

умышленно, старается свести на нет намерения Петра Великого, изложенные в проекте Академии наук.

Поездка Нартова в Москву увенчалась полным торжеством: 30 сентября императрица Елизавета подписала указ о создании следственной комиссии. Председателем ее был назначен адмирал граф Н.Ф. Головкин, а сама комиссия состояла из двух членов: коменданта С.-Петербурга генерал-лейтенанта Игнатьева и президента коммерц-коллегии князя Бориса Юсупова. Вышепоименованный указ императрицы был получен в Петербурге только 7 октября, и в этот же день Шумахер, контролер Гофман, книгопродавец Прейсер и канцелярист Паули были арестованы “со всеми их имениями”. Тогда же все академические дела были поручены Нартову.

Шумахер содержался под строгим домашним арестом, причем все комнаты в его доме были опечатаны. То же проделали и со всей Академией: опечатали не только бумаги, касающиеся общего делопроизводства, но даже и архив конференции, в котором, конечно, могли храниться только ученая переписка да статьи, имеющие отношение исключительно к наукам. Опечатание академического архива было произведено по распоряжению Нартова, которому впредь до указа приказано было исполнять должность Шумахера.

Новый правитель канцелярии с первых же шагов своей деятельности показал себя человеком бестактным, невежественным и не менее своего предшественника самовластным. Он счел своим долгом препоручить наблюдение за всем, что происходило в Академии, тем лицам, которые писали жалобы на Шумахера. К ним присоединился и Ломоносов. Все они, начиная с Нартова и кончая Михаилом Васильевичем, были уверены, что и академики как иноземцы находятся теперь под их надзором. Ободренные успехом, доносители считали свое дело выигранным и праздновали уже победу над немцами. При этом больше других шумел и безобразничал Ломоносов.

Высокоучрежденная комиссия приказала, “чтоб для беспрепятственного течения дел помянутую архиву всегда отворять, ежели нужда того потребует, а потом, вынувши надобное дело, опять запечатывать”. Понадобилось навести какую-то справку профессору Винцгейму. Он явился в сопровождении прикомандированного к комиссии майора и в присутствии Ломоносова, Камера и Пухорта намеревался достать понадобившиеся бумаги из архива. Всем трем поименованным лицам казалось, что в ученой переписке заключаются “великие тайности”. Ломоносов стал пересматривать бумаги, требовать от Винцгейма ответов, почему то или другое написано, насмехаться

и в ругательных выражениях говорить об ученых делах. Вскоре после этого Ломоносов с товарищами под предлогом осмотра печатей вошли “с немалым бесстыдством и дерзостью” в зал, где проходила ученая конференция, и своим шумным поведением прервали ее. Эти поступки заставили академиков жаловаться на Ломоносова и его товарищей в комиссию.

Странно, что молодой адъюнкт, когда комиссия потребовала его к ответу, “уклонился от дачи каких бы то ни было отзывов, так что, несмотря на высокое положение в тогдашнем обществе членов комиссии, они оказались бессильными, чтобы заставить не знатного ни родом, ни званием академического адъюнкта исполнить требование их, и притом – надо сознаться – законное. Объяснить это для тех времен весьма необыкновенное явление теперь можно только чрезвычайными литературными успехами Ломоносова при елисаветинском дворе”, – говорит Пекарский.

В то самое время, когда комиссия требовала нашего ученого к ответу, возвратилась в Москву императрица Елизавета. Это возвращение Ломоносов воспел в оде, которая теперь кажется чрезвычайно длинной и напыщенной и которая в то время возбудила всеобщий восторг. Но даже и значительно позже это новое произведение нашего поэта заставляло многих восторгаться чистотой и плавностью языка, изумляться выбором благородных и звучных выражений, движением страстей и так далее.

Однако академики стали действовать решительнее, не обращая внимания на успехи поэта при дворе. 21 и затем 26 февраля 1743 года Ломоносов опять являлся в зал академических заседаний, но ученые прямо ему заявили, что не желают его видеть в своей среде до тех пор, пока он не даст отзыва на представление о нем, сделанное еще в декабре 1742 года.

Но и это не произвело надлежащего впечатления на молодого адъюнкта, и 26 апреля он опять, на этот раз под влиянием винных паров, ворвался в зал академических заседаний и начал с того, что сделал Винцгейму “непристойный знак из пальцев”, затем отправился в географический департамент и разразился там бранью на этого не понравившегося ему академика. Адъюнкт Трюскот стал останавливать Ломоносова. Тот закричал на него: “Ты-де что за человек? Ты-де адъюнкт, кто тебя сделал? Шумахер!.. Говори со мною по-латыни”. Трюскот отказался, а Ломоносов продолжал: “Ты-де дрянь, никуда не годишься и недостойно произведен!..” Бранные слова посыпались по адресу Шумахера и других иноземцев, а Винцгейму Ломоносов обещал, если только тот произнесет еще одно слово, поправить все зубы. К нему он опять вернулся из географического департамента и стал доказывать, что он и его сотоварищи не имели права не допускать

его до академических заседаний, причем академикам он дал лестные эпитеты Hundsfòtter[5] и Spitzbuben.[6] Винцгейм заявил Ломоносову о своем намерении занести все это в протокол. Разбушевавшийся адъюнкт ответил с сознанием собственного достоинства:

“Ja, ja, schreiben sie nur; ich verstehe so viel wie ein Professor und bin ein Landeskind!”.[7] Такое поведение вызвало вторичную жалобу академиков на беспокойного поэта.

Но сколько раз комиссия ни требовала Ломоносова для допроса, он не явился, отговариваясь тем, что комиссия не имеет над ним власти, что только Академия может требовать от него ответа. Члены комиссии, выведенные наконец из терпения таким упорством, постановили 28 мая арестовать адъюнкта и содержать его под караулом. Так и поступили, и нашему поэту пришлось отсидеть несколько месяцев.

Из всех этих фактов видно, что Ломоносов в то время относился к делу низвержения Шумахера и удаления из Академии иноземцев весьма несерьезно. На самого Нартова, предводителя бунтовщиков, он смотрел свысока, насмехался над ним и напрямик отказывался от исполнения его приказаний. Существует множество мелких фактов, которые красноречиво подтверждают, что Ломоносов довольно равнодушно относился к Шумахеру и не старался ни сплотить врагов его, ни поддержать их своей энергией. Ясно, что наш ученый в это время еще не составил себе определенного взгляда на Академию и не выяснил причин ее бедственного положения. Иноземцев он не любил, а страсть к спиртным напиткам и несдержанная молодость наталкивали его на все эти буйства.

Шумахер, на первых порах не на шутку перетрусивший и чистосердечно сознавшийся, что он брал из погребов Академии “казенное французское и прочее вино в дом свой для домашнего своего расходу”, отлично рассмотрел своих врагов, и, вероятно, каждая штука, выкидываемая Ломоносовым, доставляла ему искреннее удовольствие.

Грубое обращение Нартова с академиками, которым он вздумал писать указы, требуя исполнения их, затем бессмысленное опечатывание архива конференции и буйства Ломоносова вызвали среди всех ученых ропот недовольства. Многие из них стали давать показания в пользу Шумахера, желая его возвращения к управлению академическими делами; некоторые даже принялись хлопотать об этом у высокопоставленных лиц.

Шумахер между тем огляделся, успокоился, отказался от прежних признаний и принялся с нахальной беззастенчивостью

доказывать свою невиновность. Теперь уж он не говорил, что брал вино для “домашнего своего расходу”, нет – он брал его “на содержание монстров”: “Монстры от двора и от разных мест не только к нему, но и к президентам присылались в ночное время и требовали в то время необходимо налития тем спиртом, чтоб не могли испортиться”. Вскоре среди доносителей отыскался предатель, который стал передавать Шумахеру сведения о каждом шаге, сделанном его врагами; будущий зять его Тауберт также немало постарался облегчить горькую участь заключенного. Влиятельные придворные, хотя и чисто русского происхождения, но обладавшие удивительной чувствительностью к похвалам иноземцев, тоже помогли попавшемуся правителю канцелярии выкарабкаться из беды.

Число сторонников Шумахера стало расти с каждым днем. Делиль, сначала действовавший с Нартовым заодно, теперь стал высказываться против него. На сторону “канцелярского деспота” перешли не только иноземцы, но даже и русские: так, Ададуров, Теплев и Тредиаковский подали отзывы за Шумахера и его владычество над Академией.

Комиссия уже 24 декабря 1742 года высказалась за освобождение из-под ареста Шумахера, так как до сих пор она не нашла никакого важного преступления в его действиях. Шумахера освободили и распечатали все его имущество, а почти через год после этого, 4 декабря 1743 года, указом императрицы Шумахер вновь допускался к делам “в Академии по-прежнему”, причем приказывалось выдать ему жалованье за все то время, в течение которого он был лишен его.

Так было проиграно правое дело, – правое, потому что проступки Шумахера не подлежали никакому сомнению.

Следственная комиссия закончила свои заседания в середине июля 1744 года. Она признала Шумахера виновным в употреблении казенного вина, приговорила его за это к уплате 109 рублей с копейками и в то же время представила его к производству в статские советники с назначением директором Академии. К счастью, это представление не получило высочайшей санкции. Обвинителей Шумахера приговорили к наказанию, одних – плетьми, других – батожьем, а Горлицкого, который так витиевато расписывал козни “супостатов немцев”, нашли достойным даже смертной казни, но смягчили это наказание и заменили плетьми, после чего его надлежало сослать с семьею на вечное жительство в Оренбург. Однако императрица приказала не подвергать наказанию легковерных обвинителей и оставить их по-прежнему при Академии. Но незадолго перед этим мстительный Шумахер уже успел распорядиться удалить всех

доносителей, кроме Попова, из Академии и заменить их новыми лицами.

Чем же закончилась вся эта история для Ломоносова? В начале 1744 года Сенат из доклада комиссии узнал о проступках Ломоносова и о наказании, которому он был подвергнут, как мы уже говорили, с 28 мая 1743 года.

Сенаторы, под влиянием ли придворных почитателей молодого поэта, а может быть по личному приказанию императрицы, которой очень нравились его оды, отнеслись с поразительной для того времени снисходительностью к проступкам Ломоносова.

Если вспомнить, как жестоко был избит бедный Тредиаковский не за ослушание и насмешки над приказаниями знатных, не за неприличные выходки и буйство, а просто за ничтожное замечание кадету, посланному к нему от министра, то покажется положительно странным приговор сенаторов, которым Ломоносов, “для его довольного обучения”, как сказано в сенатском указе от 18 января 1744 года, освобождался от наказания. Впрочем, приказывалось “в объявленных, учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения; а что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции, яко в судебных местах, за то давать ему, Ломоносову, жалованья в год по нынешнему его окладу половинное”. При этом добавлялось, что впредь за такие “продерзости” поступят с ним “по указам неотменно”.

27 января 1744 года Ломоносов просил прощения в конференции у всех академиков, а 15 июля последовал “милостивый и за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием” указ о производстве нашему поэту прежнего жалованья.

Нельзя не упомянуть здесь, что заключение под арестом весьма недурно подействовало на Ломоносова. Он усердно принялся за ученые и литературные занятия. Написал вторичное прошение о необходимости “учредить” химическую лабораторию, которую просил поручить ему. Это прошение за неимением денег в Академии опять-таки было оставлено без внимания. Не смущаясь таким отказом, Ломоносов в своем заключении продолжал заниматься физикой и математикой, что видно из его требований выдать ему физику Ньютона и универсальную арифметику. В это же время он работал над составлением своей “Риторики”.

Литературные его занятия выразились в сочинении нескольких од и лучшего его стихотворения: “Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого

северного сияния”. Это стихотворение – одно из немногих вполне самобытных литературных произведений нашего поэта; как плод свободного творчества своей мыслью и языком оно производит благоприятное впечатление и справедливо считается наиболее удачным. Впоследствии известный Мартос под влиянием этого стихотворения представил Ломоносова на памятнике, который воздвигнут ему в Архангельске, как бы созерцающим северное сияние. В глазах нашего поэта выражаются восторг и удивление. Не отрывая своего взора от неба, Ломоносов протянул руку, чтобы взять лиру, которую предлагает ему гений, и намеревается воспеть величественное явление “полнощных стран”.

Материальное положение заключенного адъюнкта было поистине ужасно. Из прошения его в июле 1743 года явствует, что к этому времени им было получено только две трети жалованья за 1742 год. Ломоносов “пришел в крайнюю скудость”. Не на что было купить не только лекарства, но даже “дневной пищи”, а взаймы достать денег он не мог. Академия отпускала ему по 5-10 рублей, и то только после его прошения, а иногда, за неимением наличных сумм, выдавала “для его пропитания” академические издания, которые Ломоносов и продавал за то, что дадут.

В это время приехала к нему из Германии жена с ребенком. Как произошло это событие, трудно сказать, поскольку об этом не сохранилось никаких документов. Штелин же в своем повествовании на эту тему так заврался, что нет никакой возможности верить его рассказу. Он утверждает, что на другой же день по получении письма от жены, на что она решилась только спустя два года после отъезда своего мужа из Германии, Ломоносов выслал ей 100 рублей(!). Жена нашла Ломоносова “обрадованным”, “здоровым и веселым, в довольно хорошо устроенной академической квартире при химической лаборатории”… Мы знаем уже, что Ломоносов жил в двух каморках и тогда химическая лаборатория если и существовала, то только в мечтах молодого адъюнкта.

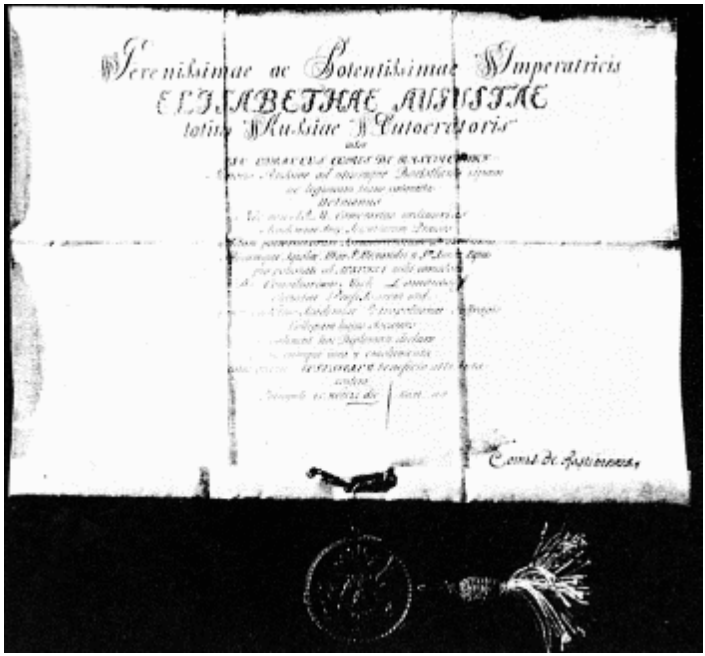
С приездом жены Ломоносова характер его поведения значительно изменяется. “Вспышки молодости”, как выражается Билярский, вскоре совсем прекращаются, и вместе с этим деятельность нашего ученого становится более широкой и плодотворной.

ГЛАВА IV

Ученые и литературные занятия Ломоносова в 1744–1745 годах. – Подача прошения о назначении профессором. – Ломоносов вместе с Мюллером подает в Сенат заявление о преступлениях Шумахера. – Ломоносов хлопочет о распространении образования в России. – Новый президент. – Перевод "Экспериментальной физики" Вольфа. – Новый устав Академии. – Граф Кирилл Разумовский. – Григории Теплов. – Влияние Шумахера. – Постройка химической лаборатории. – Лаборант. – Новые студенты. – Тредиаковский отправляется в Новгород и Москву. – Выбор учеников. – Рассмотрение университетского регламента. – "Риторика". – Новая ода. – "Две тысячи рублев в награждение". – Эпиграмма на Сумарокова. – Перемена в деятельности Ломоносова. – Похвальное слово императрице. – Речь Мюллера. – Столкновение с ним. – Занятия историей. – Сближение с И. Шуваловым. – Ученые работы. – "Новые комментарии". – Отзыв Эйлера

В 1744–1745 годах Ломоносов проявляет особенную энергию в своих ученых занятиях. Им написаны за это время четыре новые диссертации, которые были впоследствии, в 1750 и 1751 годах, напечатаны в академических "Комментариях" и еще ранее заслужили одобрительный отзыв академического собрания и знаменитого Эйлера. Тогда же он перевел "Сокращенную экспериментальную физику" Вольфа и снова подавал прошение о необходимости химической лаборатории, причем прилагал и подробный проект ее устройства.

Вскоре по возвращении двора в Петербург Ломоносов решается подать прошение о назначении его профессором Академии. Шумахер передал эту просьбу в собрание академиков, которые посчитали, что "поданные от г. адъюнкта учения его специмены достойны профессорского звания". Тогда же академик Гмелин объявил, что он готов уступить Ломоносову кафедру химии, ибо сам он слишком занят натуральной историей. Узнав о таком определении академиков, Шумахер послал представление в Сенат, причем просил, за неимением в Академии президента, утвердить Ломоносова профессором химии. Сенат утвердил это представление 7 августа 1745 года.



Диплом Ломоносова на звание профессора химии. Копия.

Став академиком, Ломоносов не отставал от своих товарищей в борьбе против Шумахера. Возвратившийся к управлению Академией советник канцелярии стал действовать еще самовластнее прежнего и своим дерзким обращением заставил ученых жаловаться на него в Сенат. Ломоносов вместе с Мюллером неоднократно подавал в Сенат представления от имени всех академиков. Проступки, в которых обвинялся Шумахер, были все те же, что и в 1742 году: самовластие, ничтожные успехи Академии в учебном деле, безотчетное употребление академических денег на свои расходы или на вспомоществование свойственникам и приятелям. Но Сенат не обращал никакого внимания на эти жалобы, вероятно, потому, как выразился Ломоносов, что ученые “приобыкли быть всегда при науках и, не навыкнув разносить по знатным домам поклонов, не могли сыскать себе защищения”.

Убедившись, что канцелярия оставляет его просьбы об устроении химической лаборатории без последствий, Ломоносов обратился к академическому собранию и побудил его подать просьбу об этом прямо в Сенат, помимо канцелярии.

С 1746 года Ломоносов начинает выступать как общественный деятель: он затрагивает вопросы образования русского юношества и вообще распространения просвещения в

России. Еще 17 октября 1745 года Сенат в указе об издании ломоносовского перевода “Экспериментальной физики” Вольфа предписывал нашему профессору читать лекции на русском языке. Такое распоряжение становится понятным, когда прочтешь следующие строки в предисловии к указанному переводу: “Сия книжица почти только для того сочинена и ныне переведена на российский язык, чтобы по ней показывать и толковать физические опыты…” Канцелярия распорядилась об исполнении упомянутого предписания Сената, но Ломоносов ни в этом, ни в следующем году не читал лекций по физике, хотя и готовился к ним. Так, он просил академическое собрание выдать ему физические инструменты, которые будут ему нужны при чтении лекций; затем, он предложил, чтобы студенты прилежнее посещали аудитории и чтобы Академия хлопотала через Сенат о присылке большого числа учеников из Невской и Новгородской семинарий. После того как в Академию вступил новый президент, граф Кирилл Разумовский, академическая канцелярия разослала уведомление о предполагавшихся лекциях по всем учреждениям, в которых могли найтись охотники слушать их. Ломоносов составил приглашение любителям физики. Лекции предполагалось читать дважды в неделю, по вторникам и пятницам, по два часа в день. Но почему-то этим первым чтениям на русском языке не суждено было осуществиться ни в этом году, ни в следующих.

Тем не менее выполненный Ломоносовым перевод “Экспериментальной физики” Вольфа заслуживает такого внимания, что о нем следует сказать несколько слов.

В предисловии, которое переводчик прилагает к своему труду после посвящения его графу Михаилу Воронцову, Ломоносов весьма ясно и толково рассказывает об успехах наук в XVII и начале XVIII столетий. “Славный и первый из новых философов Картезий, – говорит наш профессор, – осмелился Аристотелеву философию опровергнуть и учить по своему мнению и вымыслу. Мы, кроме других его заслуг, особливо за то ему благодарны, что он тем ученых людей ободрил против Аристотеля, против себя самого и против прочих философов в правде спорить и тем самым открыл дорогу к вольному философствованию и к вящему наук приращению… В новейшие времена науки столько возросли, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли того надеяться. Сие больше от того происходит, что ныне ученые люди, а особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы, но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной науки физика ныне уже на одном оном свое основание имеет.

Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов…”

Не следует забывать, что это говорилось в то время, когда в России во всех духовных училищах, этих почти единственных тогда рассадниках просвещения, царила еще схоластика и Аристотелево учение, к тому же в искаженном виде, пользовалось безусловным авторитетом. Весь перевод “Физики” сделан ясным, простым и точным языком, при этом Ломоносов ввел множество новых научных терминов, из которых многими мы до сих пор продолжаем пользоваться. Вообще надо сказать, что наш знаменитый поэт был великий мастер слова. По своему простому, ясному и в то же время изящному языку Ломоносов, выражаясь фигурально, стоял целою головою выше своих современников. Это достоинство за ним признавала Академия и сплошь да рядом поручала ему не только переводить различные сочинения, но и исправлять труды специальных переводчиков. Иван Голубцов, бывший товарищ Ломоносова по Заиконоспасскому монастырю, считался одним из лучших переводчиков своего времени. Его перевод “Краткого введения в геометрию” Георга Крафта был отдан для исправления Ломоносову, и последний исчеркал своими поправками всю рукопись Голубцова.

Эти переводные работы, а в особенности оды, в которых Ломоносов не переставал восхвалять императрицу Елизавету, вскоре создали ему репутацию знатока русского языка. Ломоносову пришлось давать отзывы о переводах Кондратовичем словарей Кнапия и Целария, затем, много позже, о русско-латино-французско-итальянском словаре Дандоло; впоследствии же и сам он стал работать над составлением словаря. Кроме этих занятий, ему приходилось еще переводить стихами немецкие надписи, которые в первое время царствования Елизаветы всегда сочинял к иллюминациям академик Штелин.

В 1747 году, наконец, был утвержден новый устав для Академии наук и штаты, по которым на ученое общество выделялась сумма, вдвое превышавшая ту, что отпускалась до сих пор. Это, собственно, единственное достоинство нового устава.

Дело в том, что к управлению академическими делами был привлечен человек умный, вкрадчивый, ловкий и не менее Шумахера властолюбивый, некий Григорий Теплов. Он был наставником графа Разумовского и им назначался теперь асессором академической канцелярии. Понятно, что Теплов пользовался большим влиянием на молодого и равнодушного к наукам графа. Шумахер, сумевший превосходно обойти нового президента и добиться его благорасположения, конечно, сейчас же постарался вступить в приятельские отношения и с Тепловым.

Когда этот последний приступил к составлению нового академического устава, то, несомненно, Шумахер дал ему целый ряд указаний и советов, которыми тот и воспользовался. Асессор канцелярии не счел нужным обратиться к академикам, дабы узнать их мнение, и написал регламент, все пункты которого, от первого до последнего, клонились к поддержанию неограниченной власти президента и академической канцелярии. Конечно, такое полное подчинение ученых и их деятельности воле президента, а в отсутствие его – академической канцелярии, не могло нравиться ни Ломоносову, ни его товарищам. Несмотря на это, нашему поэту пришлось написать восторженную оду и прославлять новые постановления.

Граф Разумовский, хотя и находился под влиянием Шумахера и Теплова, но все-таки не мог не заметить заслуг Ломоносова. В конце 1747 года по приказанию президента весь дом, в котором Ломоносов ранее занимал всего две каморки, был передан ему и его семейству. Тогда же отведено было место во дворе этого дома для предполагавшейся лаборатории. Только летом 1748 года приступили к постройке самого здания, которое воздвигалось, как мы уже говорили ранее, на деньги, отпущенные из императорского кабинета. Работы производились под непосредственным наблюдением нашего ученого и шли довольно успешно. К октябрю здание было уже почти готово, и Ломоносов заготовлял все необходимые для этого учреждения вещи и материалы. Теперь академическая канцелярия не ставила ему никаких препятствий и даже, напротив, оказывала свое содействие. В феврале 1749 года Ломоносов доносил академической канцелярии, что лаборатория “уже по большей части имеет к химическим трудам надлежащие потребности и в будущем марте месяце, как скоро великие морозы пройдут, должна будет вступить в беспрерывное продолжение химических опытов”. Свое донесение Ломоносов заканчивал просьбой о назначении лаборанта. Это требование нашего ученого было удовлетворено, и 1 мая в эту должность вступил некий Иоганн Менеке, которого Ломоносов сам отэкзаменовал по химии и познания которого нашел достаточными для лаборанта.

Мы еще вернемся к деятельности этой первой в России лаборатории, теперь же заметим, что устройство ее при Академии составляет одну из крупных заслуг Ломоносова, который на это дело не щадил своей энергии и настойчивости.

В том же 1748 году обратили большое внимание на предложение Ломоносова об истребовании учеников из Новгородской и Невской семинарий и вообще из школ при монастырях. Ссылаясь на 37-й параграф нового регламента,

академическая канцелярия постановила отобрать для университета 30 человек из указанных духовных училищ. Духовное начальство этих школ встретило такое требование с открытым неудовольствием, потому что эта мера должна была непременно повести к недостатку в способных людях при замещении наиболее важных должностей по духовному ведомству. Но брат Разумовского, да и сам он, пользовались большим влиянием при дворе, так что настойчивому Григорию Теплову удалось скоро добиться желаемого решения этого дела. В Новгород и Москву был послан Тредиаковский – и исполнил данное ему поручение очень удачно.

Несколько позже приступили к рассмотрению университетского регламента, который, собственно, был составлен знаменитым историографом Мюллером; канцелярия же сделала в уставе свои поправки и в таком измененном виде отдала его на обсуждение академиков.

Ломоносов, как и многие из его сотоварищей, высказывал желание, чтобы наш первый университет по своему устройству походил на заграничные. “Студентов разделить на три класса, – писал наш академик в “Прибавлении к моему мнению об университетском регламенте”. – Первого класса студенты ходят на все лекции для того, чтобы иметь понятия о всех науках и чтобы всяк мог видеть, к какой кто науке больше способен и охоту имеет. Второго класса студенты ходить должны на лекции только того класса, в котором их наука. Третьего класса студенты те, которые определены уже к одному профессору и упражняются в одной науке. Сим последним должно, по моему мнению, определить ранг армейского прапорщика; а производить их во временные переводчики в поруческий ранг, а из них – в адъюнкты”. Впрочем, нельзя не прибавить, что участие Ломоносова в составлении университетского регламента было пока весьма незначительно. Он еще, так сказать, только готовился к будущим сражениям с канцелярией из-за этого же предмета.

1748 год был особенно удачным для нашего поэта в литературном отношении. В этом году наконец вышло его “Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится Риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки”.

Ломоносовская “Риторика” в смысле своего содержания не может претендовать на полную самостоятельность. Митрополит Евгений, этот замечательно образованный для своего времени человек, первый заметил, что сочинение Ломоносова содержит немало отрывков из риторик Кауссина и Помея. Более поздние

исследования показали, что многие риторические правила заимствованы им у Готшеда, а параграфы “о сопряжении идей” и “об изобретении доводов” взяты у Вольфа.

Однако труд Ломоносова имеет столько достоинств, что становится понятным тот восторг, который возбуждала эта книга не только в современниках, но и в потомках спустя несколько десятков лет после выхода ее в свет, а также и то значение, которое она приобрела в нашей литературе. Прежде всего, заметим, что это была первая риторика на русском языке; ранее же в школах риторика преподавалась исключительно на латинском. Затем, в книге было помещено множество отрывков и даже целых произведений в стихах и прозе, оригинальных и переводных. Эти вставки служили для разъяснения и подтверждения различных риторических правил. И переводчиков, и авторов всех этих примеров “совмещало одно лицо – Ломоносов!” – замечает Пекарский. Нужно отдать должное нашему поэту: выбор этих образцов и примеров сделан им с замечательным литературным вкусом и свидетельствует о широком образовании и громадной начитанности автора. Все лучшее, что заключала в себе в то время весьма небогатая русская литература, было помещено в “Риторике”. Это обстоятельство делало произведение Ломоносова неоценимым, так как в то время почти не было книг для легкого чтения. Язык, которым написана была вся книга, настолько стоял выше современного ему, что даже через 50 лет с лишком “Риторика” Ломоносова продолжала вызывать восхищение.

Б том же году Ломоносов написал новую “Оду на день восшествия на престол Ее Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны”. Это произведение было поднесено ей во дворце графом Разумовским. Ода понравилась, и государыня пожаловала Ломоносову “две тысячи рублев в награждение”.

Деньги пришлись как раз кстати. Ломоносов частенько-таки осаждал канцелярию просьбами о выдаче жалованья, и притом не за прошлое время, как это было раньше, а вперед, за будущее. 660-ти рублей оказывалось недостаточно для его хозяйства, и у него из года в год стали накапливаться долги. Неожиданно полученные две тысячи рублей дали возможность расплатиться с ними.

Впрочем, в 1748 году наш ученый стал получать на 200 рублей больше. Эти деньги причитались ему за работу в “С.-Петербургских ведомостях”. Ему поручено было исправлять все переводы для этой газеты, “последнюю оных ревизию отправлять и над всем тем, что к тому принадлежит, труд нести”.

Кроме этого поручения, на Ломоносова возлагали, как и в

предшествующие годы, просмотр переводов многих книг, которые печатались при Академии наук. Между прочим нашему поэту пришлось рассматривать произведения Сумарокова, а именно трагедию “Гамлет” и две эпистолы. В то время Ломоносов не был еще в ссоре с российским Расином, который в одной из этих эпистол называл нашего академика Пиндаром. Хотя Михаил Васильевич и похвалил труд Сумарокова, но не удержался от эпиграммы на него.

Гертруда, уличенная сыном своим в убийстве первого мужа и раскаявшаяся, говорит своему супругу:

Вы все свидетели безбожных дел,
Того противна дня, как ты на трон взошел,
Тех пагубных минут, как честь я потеряла
И на супружню смерть не тронута взирала.

“Ломоносов, – говорит Шишков в своем “Рассуждении о старом и новом слоге”, – похуляя сей последний стих и доказывая, что в нем совсем не тот смысл, в каком сочинитель его употребил, написал следующие стихи:

Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что пятнадцать лет,
И, не дождавшись первой ночи,
Закашлявшись, оставил свет:
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала”.

С 1749 года в деятельности Ломоносова начинает замечаться крупная перемена. Он постепенно оставляет занятия естественными науками, отдается словесным – истории и литературе – и приступает к практическим делам.

Для торжественного собрания Академии в этом году Ломоносову поручено было написать похвальное слово императрице, а Мюллеру – приготовить речь исторического содержания. Ломоносов удачно справился с возложенным на него поручением, и его “Слово” вызвало всеобщий восторг. После всевозможных восхвалений добродетелей Елизаветы, восхвалений, вылившихся в витиеватых и пышных фразах – причем он подражал древним классикам, а иногда и прямо заимствовал их обороты речи, – Ломоносов говорит, что нигде, кроме “пространной и безмятежной” России, нет таких благоприятных условий для процветания наук.

Речь Мюллера “Происхождение народа и имени российского” была встречена совсем иным образом. Она возбудила в академических заседаниях бурные прения и наконец совсем была запрещена как неудобная для чтения на актовом собрании Академии. “До весьма недавнего времени, – замечает Пекарский, – существовало убеждение, что все преследования против этого произведения Мюллера были возбуждены по наущению Ломоносова. Но после обнародования значительной массы материалов для жизнеописания последнего оказалось, что преследования эти начались из Москвы от Теплова, управлявшего всеми действиями тогдашнего президента Академии графа Разумовского, и потом поддерживались Шумахером в Петербурге”.

Мы не станем входить в подробности этого продолжительного спора между Ломоносовым и знаменитым историографом. Заметим только, что в своей “неисторической критике исторического сочинения”, как выражается Билярский, наш ученый преимущественно руководствовался патриотическими соображениями.

> “Правда, что г. Мюллер говорит: прадеды ваши от славных дел славянами назывались, но сему во всей своей диссертации противное показывать старается, ибо на всякой почти странице русских бьют, грабят, *благополучно* скандинавы побеждают… Сие так чудно, что если бы г. Мюллер умел изобразить живым штилем, то бы он Россию сделал толь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен”.

Спор продолжался чуть не целый год, и оба противника в пылу раздражения доходили до курьезных крайностей.

С тех пор Ломоносов начал обращать особенное внимание на науку, которой, собственно, ранее никогда серьезно не занимался и к изучению которой не имел никакой солидной подготовки: русская история стала новым предметом его ученых занятий.

Однако не следует думать, что исключительной побудительной причиной в данном случае явился этот спор, задевший страстную и несдержанную душу нашего ученого. Тут были и другие причины. Прежде всего, укажем на сближение Ломоносова с фаворитом императрицы Елизаветы – И. Шуваловым. Этот любитель изящной словесности, конечно, восхищался литературными произведениями нашего поэта и не обращал никакого внимания на занятия Ломоносова естественными науками. И. Шувалов, как теперь оказывается, сам

пробовал сочинять стихотворения и переводить стихами, хотя не имел к этому никакого дарования. Желая овладеть изящным слогом и стихотворной формой, он брал уроки у Ломоносова. Что же удивительного, что покровитель нашего академика стал советовать ему бросить занятия физикой и химией и углубиться в историю? Во-вторых, сама государыня в бытность Ломоносова в Москве через камергера Шувалова “изволила объявить…, что Ее Величество охотно желала бы видеть российскую историю его штилем…”

Однако Ломоносов не вполне поддался советам своего покровителя. “Что же до других моих в физике и в химии упражнений касается, чтобы *их вовсе покинуть,* то нет в том ни нужды, ни возможности”, – писал он И. Шувалову. “Всяк человек требует себе от трудов упокоения… И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько времени, чтобы их употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменою материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют”. Ломоносов остался верен этим словам: он до конца дней своих продолжал делать опыты и изыскания в области химии и физики, но действительно стал уделять им, за недосугом, все меньше и меньше времени. Об этом следует только пожалеть, так как работы его за первые 10 лет академической службы были настолько глубоки, серьезны и замечательны, что заставляли гениального Эйлера восхищаться ими.

В 1750 году в первом томе “Новых комментариев” были напечатаны четыре его сочинения. Вот их заглавия: 1) “Размышление о причине теплоты и холода”; 2) “Опыт теории упругой силы воздуха” и “Дополнения к размышлениям об упругости воздуха”; 3) “Рассуждение о действии химических растворяющих средств” и 4) “О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном”.

Все эти диссертации, за исключением последней, были представлены Ломоносовым на суд академического собрания. За эти работы Ломоносов признан был достойным звания профессора. Тогда Шумахер, с какою-то тайною целью, послал эти сочинения к Эйлеру и просил дать о них свой отзыв.

Вот ответ гениального ученого: “Все сии диссертации не токмо хороши, но и весьма превосходны, ибо он пишет о материях физических и химических весьма нужных, которые поныне не знали и истолковать не могли самые остроумные люди, что он учинил с таким успехом, что я совершенно уверен о

справедливости его изъяснений”. (Перевод самого Ломоносова).

Странно, что все эти диссертации, так понравившиеся главе всей европейской науки того времени, прошли почти незамеченными в ученом мире, когда появились в наших “Комментариях”.

ГЛАВА V

Практический характер работ в химической лаборатории. – Разноцветные стекла. – Разнообразные занятия. – Ломоносов подносит государыне мозаичный образ. – Требование учеников для обучения мозаичному искусству. – "Всенижайшее предложение об учреждении здесь мозаичного дела". – Портрет Петра Великого. – Просьба в Сенат о пособии для устройства стеклянной фабрики. – Удача. – "Письмо о пользе стекла". – Поездка в Москву. – Столкновение с Шумахером. – Получение паспорта. – Высочайшее именное повеление. – "Надпись на оказание высочайшей милости Ее Величества, 1753 года". – Крупный заказ. – "Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих". – Смерть Рихмана. – Письмо к И. Шувалову. – Отзывы об этом "Слове" профессоров Любимова и Спасского. – Отношение к той же работе сотоварищей Ломоносова, – Отзыв Эйлера. – Старания иноземцев-академиков повредить славе Ломоносова. – Заграничные сатиры на нашего ученого. – Мнение Эйлера. – Бестактность Ломоносова. – Две литературные партии. – И. Шувалов стравливает Ломоносова с Сумароковым для своей потехи. – Отношение нашего поэта к "сильным мира сего"

В первый же год существования химической лаборатории при Академии Ломоносов придал своим работам по химии практический характер. На это не следует смотреть только как на свидетельство того, что светлый, могучий и пытливый ум нашего ученого, постоянно стремившегося к широким научным обобщениям, не чужд был и практического направления. Мы уже упоминали, что современное Ломоносову общество вследствие низкого уровня своего образования признавало за наукой действительно серьезные заслуги только тогда, когда научные открытия имели непосредственное отношение к повседневной жизни и облегчали выполнение тех или других практических задач. Наш академик был страстный поклонник наук, постоянно хлопотал о процветании и распространении их в России и отлично понимал, насколько важно убедить окружающее его общество в пользе, приносимой научными истинами. Ломоносов торжествовал каждый раз, когда ему удавалось сделать что-нибудь в этом направлении.

Уже в январскую треть 1749 года он приступил к опытам, "до крашения стекол надлежащим". С тех пор работы по изысканию способов приготовления красок для стекол, затем берлинской лазури, бакана венецейского и так далее не прекращались в

течение нескольких лет подряд.

Как видно из собственных докладов Ломоносова, работы его по приготовлению разноцветных стекол в 1750 и 1751 годах шли весьма успешно, хотя в то же время ему приходилось заниматься рассмотрением и исправлением переводов, сочинением стихотворных надписей на иллюминации, подготовительными работами по истории, составлением новой теории цветов, сочинением по приказанию императрицы двух трагедий: “Тамира и Селим” и “Демофонт”, – которые, впрочем, не имели никакого успеха, изобретением новых физических инструментов и производством многочисленных физических и химических опытов; тогда же он начал составлять новую грамматику, сочинил “начало третьей книги красноречия о стихотворстве вообще”, читал лекции по химии, давал уроки студенту Поповскому и И. Шувалову, составлял с Кондратовичем словарь, работал в “С.-Петербургских ведомостях”, спорил с Мюллером и т. д. и т. д. Нельзя не удивляться многочисленности и разнообразию всех этих занятий, так ярко показывающих поразительное богатство его способностей. Невольно припоминаются здесь слова Пушкина: “Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник”.

Однако вернемся к химической лаборатории.

В августе 1751 года Ломоносов уже решился представить императрице, через графа Воронцова, пробы мозаичных составов. Ученый пользовался удобным случаем и просил своего покровителя Шувалова похлопотать за него, чтобы ему удобнее и свободнее было “производить в действие” его “в науках предприятия”. Вероятнее всего, что представленные государыне пробы мозаики произвели на нее благоприятное впечатление: вскоре после этого Ломоносов занялся составлением мозаичного образа, который он окончил к сентябрю 1752 года и 4-го числа того же месяца поднес императрице. Образ, по словам нашего ученого, “составлен… с оригинала славного римского живописца Солимена; всех составных кусков поставлено больше четырех тысяч, все его руками; а для изобретения составов делано 2184 опыта в стеклянной печи”.

Первый опыт вышел весьма удачным. 24 сентября 1752 года Ломоносов просил академическую канцелярию дать ему учеников для обучения мозаичному делу, “ибо он, изобрев к сему делу все способы, и показать может довольно, но сам всегда в том не может упражняться, желая служить отечеству другими знаниями

и науками”. Канцелярия не замедлила распорядиться о прикомандировании к нашему ученому двух учеников “из ведомства мастера Гриммеля”, а именно Васильева и Мельникова. Но Ломоносову этого было уже мало, и 25 сентября 1752 года он подал “всенижайшее предложение об учреждении здесь мозаичного дела”. В этом предложении наш академик убедительно объяснял, что изобретенные им мозаичные составы нисколько не уступают римским, что из них можно набирать образа и портреты и что для учреждения мозаичного дела следует направить шесть учеников к нему в обучение, выделить особый дом из числа конфискованных правительством, а на содержание всего заведения отпускать ежегодно 3710 рублей. Ломоносов уверял далее, что если будут изготовляться “на продажу мозаичные столы, кабинеты, зеркальные рамы, *шкатули,* табакерки и другие домашние уборы и галантереи, то будут сии заводы сами себя окупать и со временем приносить прибыль… Сие все имеет служить к постоянному украшению церквей и других знатных зданий, а особливо к славе Ее Императорского Величества”.

Правительство не утвердило этот проект; вероятнее всего, что затраты, исчисленные Ломоносовым весьма скромно, все-таки показались несоразмерно большими по сравнению с той пользой, которую могло принести это предприятие.

Но Ломоносов был не из числа людей, складывающих оружие при первой же неудаче. Напротив, наш академик, не теряя времени, стал со своими учениками набирать портрет Петра Великого и спустя некоторое время подал в Сенат прошение, в котором просил правительственного пособия для устройства “фабрики делания изобретенных им разноцветных стекол, и из них бисеру, пронизок и стеклярусу, и всяких других галантерейных вещей и уборов, чего еще поныне в России не делают, но привозят из-за моря великое количество…”

В своей просьбе он ссылался на регламент мануфактур-коллегии, “которым позволено всякого чина людям в России, где кто заблагорассудит, фабрики и мануфактуры заводить и распространять, какие в чужестранных государствах находятся, а особливо такие, для которых материалы в Российском государстве найтись могут, обещая тем заводчикам денежное и всякое Высочайшее обнадеживание”.

На основании этого Ломоносов просил ему для его фабрики “отвесть в Копорском уезде село Ополье или в других уездах С.-Петербурга, не далее полутораста верст, где бы мужеского пола около 200 душ имелось, с принадлежащими угодьями, и потому же лесу и крестьянам быть при той фабрике вечно и никуда их не

отлучать, ибо наемными людьми, за новостью, той фабрики в совершенство привести не можно…” Но академик хорошо предвидел, что Сенат, отказывая в его просьбе, мог бы сослаться на то, что в указанном регламенте ничего не говорится о раздаче деревень для устройства фабрик. Ломоносов доказывал, что это подразумевается “под именем всякого вспоможения”. Затем он просил о единовременном пособии в четыре тысячи рублей, которые обещал выплатить в пять лет, и о выдаче ему монополии на 30 лет.

Сенат нашел ходатайство нашего академика заслуживающим полного удовлетворения и подал государыне доклад с таким представлением, что “не соизволит ли Ее Императорское Величество то село Ополье, для заведения вышеобъявленной нужной государству фабрики, со всеми к тому селу принадлежащими угодьями ему, Ломоносову, пожаловать и быть тому селу при оной фабрике… вечно неотъемлему, дабы он, Ломоносов, имея в том твердую надежду и проча ее себе и потомкам своим, мог тому своему художеству, употребя из находящихся в оном селе молодых людей, совершенно обучить…” Далее Сенат ходатайствовал об удовлетворении всех просьб Ломоносова, за исключением только одной. Наш академик просил, чтобы был запрещен ввоз из-за границы всех товаров, которые он намеревался делать на своей фабрике. Сенат по поводу этого ограничился только одним замечанием: “О том надлежащее распоряжение учинено будет в то время как его фабрика в размножение придет и вышеозначенных вещей с довольством делано будет”.

Это сенатское представление было утверждено с некоторыми изменениями только в 1753 году. Между тем в декабре 1752 года велено было академической типографии печатать знаменитое “Письмо о пользе стекла к И. Шувалову”. О причинах, побудивших Ломоносова написать это стихотворение, рассказывали следующий анекдот.

Однажды наш поэт, в кафтане со стеклянными пуговицами, обедал у И. Шувалова. Один из знатных людей, рассматривая знаменитого ученого, заметил эти пуговицы и, будучи, надо полагать, аккуратным последователем моды, не удержался от замечания, что таких пуговиц теперь больше не носят. Ломоносов возразил, что носит стеклянные пуговицы не по моде, а из уважения к стеклу, и наш ученый с таким воодушевлением стал рассказывать о пользе, приносимой стеклом в домашнем быту, в ремеслах, художествах, науках и так далее, что хозяин пришел от этих изъяснений в восторг и просил его написать все это в стихах. Ломоносов исполнил его просьбу.

Пекарский в своем солидном труде высказывает соображение, что “наверное в те времена были скептики, не верившие в великие выгоды, которые обещались России от учреждения со значительным пособием от казны такой фабрики, и этих-то скептиков имел в виду Ломоносов, начиная свое письмо:

Не право о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше пользы в нем, не меньше в нем краса”.

При этом в сноске Пекарский говорит: “Что такие скептики существовали, это доказывает отзыв десятилетнего великого князя Павла Петровича, когда он узнал о смерти Ломоносова, что его нечего жалеть: “Казну только разорял и ничего не сделал”. Разумеется, что эти слова могли относиться ни к чему другому, как к мозаичной фабрике Ломоносова, и великий князь говорил так со слов других” (“Русский архив”, 1869, № 1, с. 13).

Мне кажется, эти соображения гораздо менее вероятны, чем приведенный незатейливый анекдот, что доказывает спокойное, хотя и высокопоэтическое вдохновение, с каким написано все стихотворение. Когда Ломоносов защищается от нападений врагов, им всегда всецело овладевают раздражение и негодование, не допускающие ни спокойствия, ни вдохновения. Страстный и несдержанный, он в походах против своих неприятелей всегда является, так сказать, вооруженным дубиной, которой и бьет по голове врага со всего размаха. Что же касается скептиков, упоминаемых Пекарским, то, вероятно, они имелись в наличии и в то время, – но нельзя же подтверждать это вышеприведенным замечанием великого князя Павла. Резкое замечание малолетнего великого князя было сделано почти через 13 лет после того, как Ломоносов просил о разрешении устроить стеклянную фабрику. Тогда, конечно, могли явиться скептики, так как дела фабрики были в неказистом виде.

Дни проходили за днями, а сенатское представление все еще не получало высочайшего утверждения.

Ломоносов решился лично обратиться к государыне с прошением, а для этого ему нужно было ехать в Москву, куда незадолго перед этим опять отправился весь двор.

Пришлось просить Шумахера об отпуске; советник канцелярии отказал. Само собой разумеется, что все это сопровождалось весьма крупным разговором, которого мы здесь приводить не станем, чтобы не удлинять нашего очерка.

Получив отказ в канцелярии, Ломоносов обратился к

главноначальсгвовавшему тогда в Петербурге М. Голицыну. Попытка удалась, и паспорт на проезд в Москву был получен из сенатской конторы.

Чтобы была понятна эта смелость личного обращения к государыне, заметим здесь, что императрица не раз выказывала Ломоносову знаки своего благоволения. Еще в 1750 году наш ученый вместе с Шуваловым был принят ею в Царском Селе, при этом она оказала ему “Высочайшую монаршескую милость”. В чем эта последняя заключалась – до сих пор. нет достоверных данных. Затем, в 1751 году, в марте, исполнилось давнишнее желание Ломоносова иметь чин. Личным указом императрица произвела Ломоносова в коллежские советники с жалованьем в 1200 рублей. Мозаичный образ, который наш академик поднес государыне, был принят с выражением благодарности.

Все это ободряло его, да, кроме того, он был уверен, что его покровитель и друг И. Шувалов замолвит за него доброе словечко.

Расчет оказался верным, и поездка в Москву увенчалась полным успехом. 15 марта 1753 года состоялось именное повеление: “… дать ему, Ломоносову, для работ к фабрике в Копорском уезде – из Коважской мызы от деревни Шишкиной 136, из деревни Калищ 29, из деревни Усть-Рудиц 12, от мызы Горья Валдой из деревни Перекули и Липовой 34 – всего 211 душ со всеми к ним принадлежащими по описным книгам землями…” В высочайшей грамоте, которой жаловались Ломоносову эти крестьяне, говорилось, что эта фабрика не будет отнята ни у него, ни у его потомков, если она будет содержаться в добром порядке. До сих пор пожалованные Ломоносову дачи находятся во владении его потомков по женской линии – Н.М. Орлова и Раевских.

Обрадованный Ломоносов сочинил такую “Надпись на оказание высочайшей милости Ее Величества, 1753 года”:

Монархиня, Твоя прещедрая рука
Обилие нам льет и радость, как река;
Сильнее, нежели ключей кастальских токи,
Стремление к стихам и дух дает высокий.
О радостный восторг; куда я полечу?
Но большее язык богатство слов являет,
Когда умеренно веселие бывает;
Веселие мое безмерно, – я молчу.

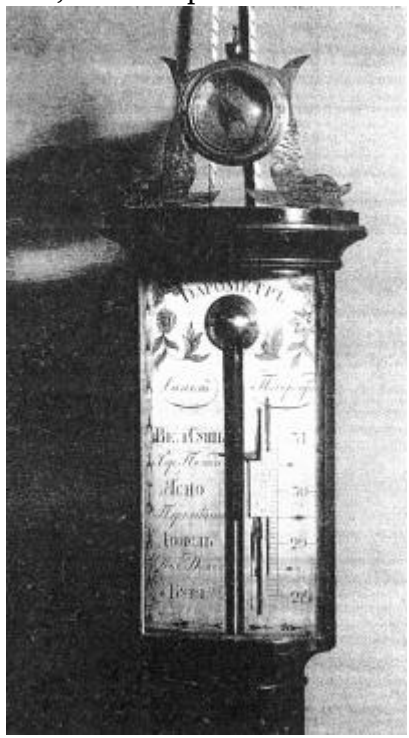
Замечательно, что тот же самый И. Шувалов, который оказал Ломоносову сильную поддержку в его просьбе перед

императрицей, убеждал его не оставлять занятий науками ради фабрики и вообще советовал ему быть в поступках своих осторожным.

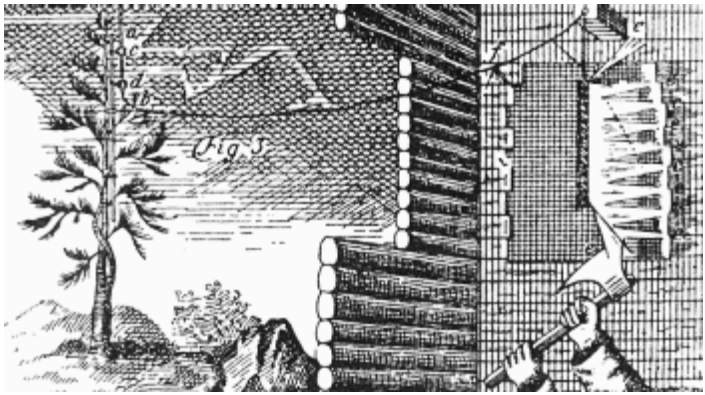
Мы не станем распространяться здесь о дальнейшей судьбе его стеклянных фабрик. Скажем только, что Ломоносову в конце концов удалось получить от правительства крупный заказ. Ему поручено было украсить восемью мозаичными картинами многосложный и роскошный памятник Петру Великому; монумент предполагалось поставить в Петропавловском соборе.

Одну из картин, изображавшую Полтавский бой, нашему академику удалось вполне окончить и, вероятно, сдать. “Но куда и когда она была сдана, кто был судьею выполнения и каков был отзыв, неизвестно”, – замечает Билярский. Под влиянием указанного крупного заказа, – с 1761 года Ломоносов стал получать за эти работы по 13460 рублей в год, – фабрика его оставила стеклянное производство и занялась исключительно мозаичным делом. Вторая картина, представлявшая взятие Азова, вследствие смерти нашего ученого осталась неоконченной. Куда она девалась, остается также неизвестным.

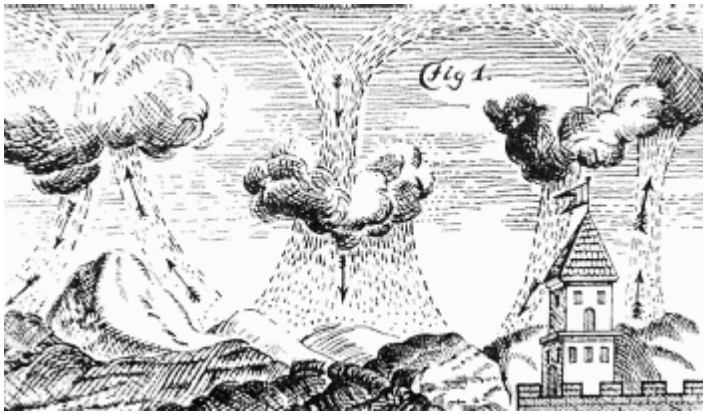
1753 год памятен в жизни Ломоносова еще и тем, что в этом году он написал наиболее замечательную из своих работ: “Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих”.



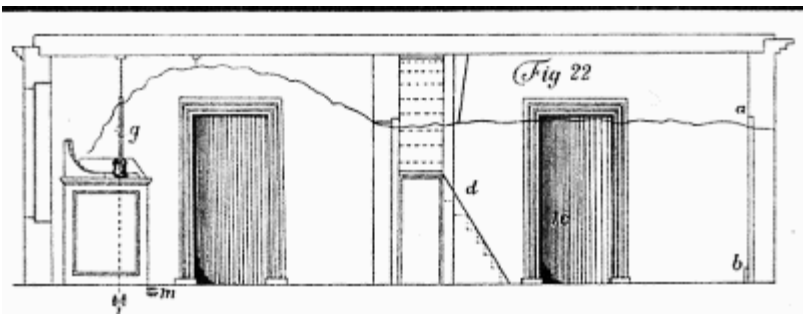
Барометр XVIII века. Деталь. Музей М.В. Ломоносова. С.-Петербург



“Громовая машина”, установленная Ломоносовым в июле 1753 г. в Усть-Рудице. Гравюра по рисунку Ломоносова, 1753

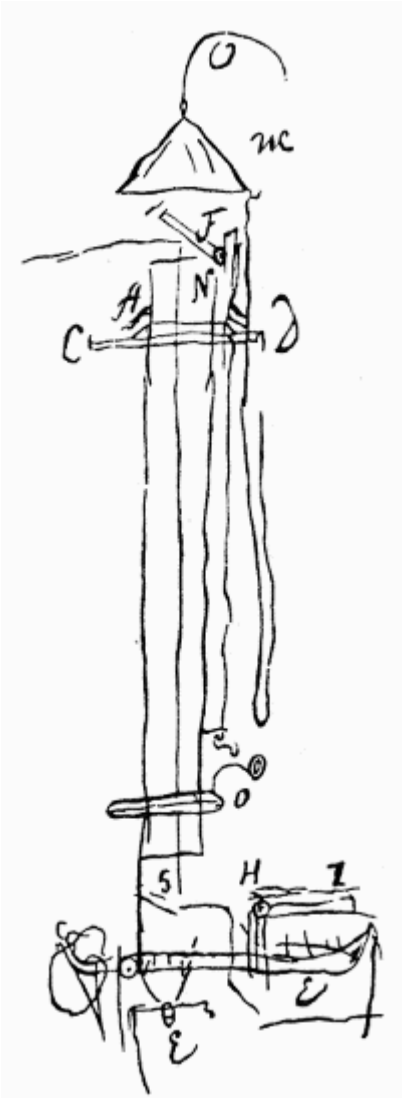


Механизм образования в атмосфере вертикальных воздушных потоков. Рисунок Ломоносова, 1753

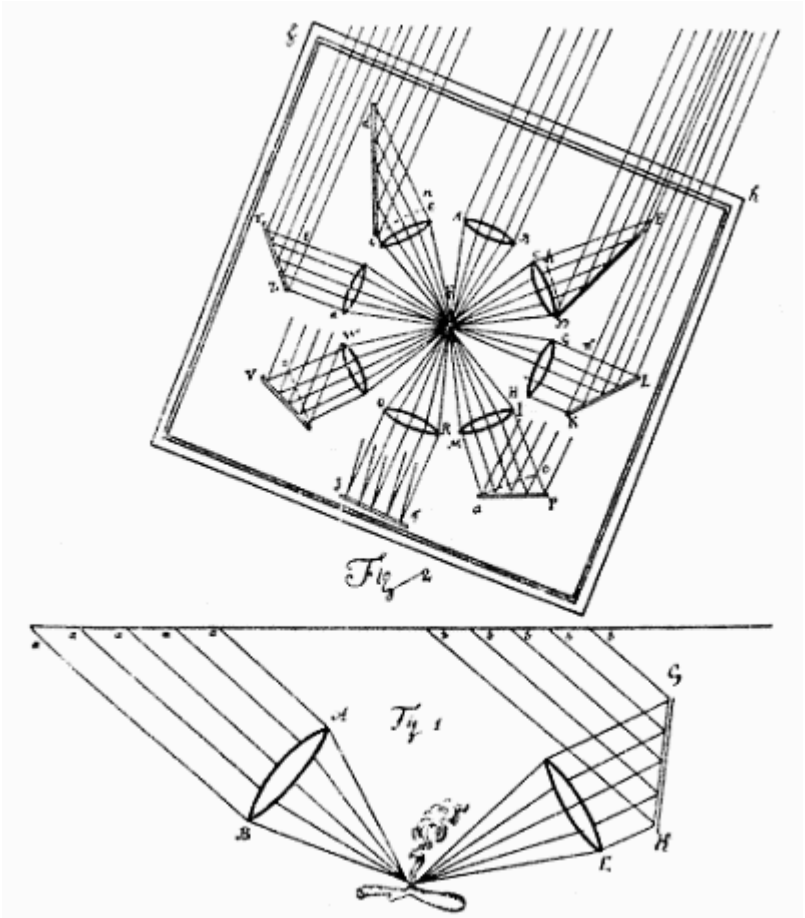


“Громовая машина”, установленная Ломоносовым на своей квартире. Рисунок Ломоносова, 1753

Лишь только в 1752 году пришли в Петербург известия об открытии Франклином воздушного электричества, академик Рихман и Ломоносов стали заниматься этим вопросом. Рихман произвел целый ряд новых опытов, которыми наряду с личными наблюдениями Ломоносов воспользовался для создания новой теории, объясняющей воздушные электрические явления.



“Горизонтоскоп” конструкция Ломоносова, изображенная автором



Солнечная печь конструкции Ломоносова, в авторском изображении

Оба ученых намеревались познакомить общество со своими трудами на публичном акте 1753 года. Но Рихмана 26 июля 1753 года убило громом. Счастливая случайность спасла Ломоносова от такой же печальной участи. В письме о смерти товарища к И. Шувалову наш академик пишет: “Что я ныне к вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того что мертвые не пишут. Я не знаю еще, или по последней мере сомневаюсь, жив ли я или мертв. Я вижу, что г. профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время”. Дальнейшее содержание письма подтверждает эти слова. Замечательно, что пораженный несчастным случаем Ломоносов больше всего боится, чтобы смерть Рихмана не была истолкована в русском обществе как

убедительное свидетельство вреда от наук для России. Ломоносов с увлечением говорит, что Рихман умер прекрасной смертью, исполняя свой долг и стоя на посту, который указала ему наука; затем наш ученый положительно умоляет Шувалова обеспечить несчастную вдову, чтобы она могла сына своего, маленького Рихмана, воспитать и обучить, “чтобы и он такой же был любитель наук, как его отец”.

После всевозможных препятствий, которые ставила Ломоносову канцелярия, а затем и академики-товарищи, Михаилу Васильевичу удалось прочитать свою речь на публичном акте. Его “Слово” было отпечатано потом на латинском и русском языках, но осталось опять-таки почти незамеченным ученым миром Европы. Причину этого следует искать в том, что речь его была напечатана в очень ограниченном числе экземпляров и притом в таком отдаленном городе, каким являлся в то время Петербург; кроме того, ученые не имели привычки следить за актовыми речами, так как они предлагались для публики и обыкновенно новых открытий в себе не содержали.

Тем не менее “Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих”, является настолько гениальным и глубоким трудом нашего ученого, что дает нам полное право поставить имя Ломоносова рядом с именем знаменитого Франклина.

Вот что говорит по этому поводу профессор Московского университета Н.А. Любимов в своей речи “Ломоносов как физик”: “Ломоносов жадно следил за движением науки и вскоре после того, как узнал об открытии Франклина, решился сам повторить его опыты и составил целую теорию воздушных электрических явлений, которая во многих пунктах сходится с теорией Франклина, а во многих превышает ее. Замечательно, что Ломоносов составил свои теоретические взгляды на атмосферные электрические явления, еще не читая классических “Писем Франклина”, которые попались ему под руку, когда уже большая часть “Слова об электричестве” была готова. Со свойственною ему восприимчивостью Ломоносов угадал, в чем состоят главные вопросы в области этого предмета, и составил теорию, которая, может быть, превышает все современные ему понятия о воздушном электричестве… Ломоносов относит северное сияние к числу электрических явлений атмосферы. Он объясняет это явление электричеством, возбуждаемым в воздухе полярных стран от погружения верхнего холодного воздуха в нижний и скопляющимся в самых высших слоях атмосферы, где оно светится, как в пространстве, в котором разрежен воздух… Теория северного сияния составлена Ломоносовым независимо от

подобной же теории Франклина, которая им кратко выражена в “Письмах…” Ломоносов относит хвосты комет и зодиакальный свет также к электрическим явлениям. В его эпоху многие ученые (в числе прочих Меран и Эйлер) видели в северном сиянии связь с зодиакальным светом и хвостами комет. Но их объяснения северного сияния ниже объяснений Ломоносова”.

Профессор Спасский в своей речи “Об успехах метеорологии” замечает между прочим: “Изложенная во всей подробности Ломоносовым смелая теория погружения верхнего холодного воздуха в нижний осталась неизвестною западным ученым. При объяснении важности в метеорологических явлениях так называемых восходящих потоков воздуха вся честь приписывается Соссюру по той причине, что Соссюр изложил это на основании непосредственных своих наблюдений. Ломоносов в основании своей теории совершенно верен природе и еще прежде Соссюра указал на значение этих потоков…”

Не так сочувственно отнеслись к этой работе академические сотоварищи Ломоносова. На заседании 26 октября академики Гришов, Браун и Попов подали письменные “сумнительства”, которые они находили в речи Ломоносова. Они совсем не верили теории электрических явлений Ломоносова и говорили, что и до него Франклин, Эйлер, Кейль, Моньер объясняли электричеством происхождение феноменов, о которых идет речь в “Слове”. Короче говоря, этим академикам хотелось намекнуть, что работа нашего ученого несамостоятельна и заимствована у Франклина. Понятно, что это обвинение оскорбило и возбудило Ломоносова до последней степени. Шумахер тоже стал на сторону вышепоименованных академиков и отложил публичный акт. Тогда Ломоносов обратился к помощи И. Шувалова и вместе с ним стал действовать на президента.

Лишь только “Слово” вышло в свет, как Шумахер отправил это сочинение Эйлеру, Гейнзиусу и Крафту, бывшим, как известно, почетными членами нашей Академии. Эйлер прислал отзыв, в котором писал, что прочел новую работу с величайшим удовольствием и нашел объяснения Ломоносова остроумными и правдоподобными; знаменитый математик в самых лестных выражениях распространяется о счастливых дарованиях нашего ученого. Понятно, что не такого ответа ждали Шумахер с компанией. Им всем гораздо больше понравились ответы Гейнзиуса и Крафта, усердных сторонников Шумахера. Они нашли злополучную работу по мысли недурной, но вовсе не новой, и вместе с тем высказали некоторые сомнения и опровержения доказательств нашего академика. Шумахер был в восторге и поторопился переслать их письма президенту, чтобы

поколебать высокое мнение графа К. Разумовского об ученых заслугах Ломоносова.

Вообще следует заметить, что иноземцы-академики недолюбливали нашего ученого и старались сколько могли вредить его славе. В 1754 году начали появляться в заграничных журналах крайне пристрастные критические разборы статей Ломоносова, помещенных в “Новых комментариях”. Затем, несколько месяцев спустя, немецкий магистр Иоганн Христофор Арнольд выступил с диссертацией, опровергающей ломоносовскую гипотезу теплоты. В одной из последних своих записок наш академик прямо сказал, что давний враг его историограф Мюллер получал писать за границей неодобрительные критики на его сочинения. В этом утверждении Ломоносова, несомненно, заключается доля истины. Иначе зачем же было и Шумахеру, и Мюллеру пересылать как можно скорее все статьи Ломоносова заграничным ученым, причем обыкновенно добавлять, что автор статей хвастается своими новыми открытиями. Но этого иноземным академикам было мало. Они обратились к иностранным стихоплетам и просили их писать сатиры на Ломоносова. Одна из этих сатир сохранилась до наших дней.

Возмущенный Ломоносов написал антикритику на разбор лейпцигским журналом его теории теплоты и отослал ее Эйлеру. Этот ученый отвечал письмом, в котором, описав наглость и недобросовестность подобных критиков, говорит: “Наша (берлинская) Академия сама испытала это: ее мемуары критиковались подобными писателями, между которыми первенствует лейпцигский профессор Кестнер, как бы руководящий всеми литературными известиями Лейпцига, Геттингена и Гамбурга… Кто смотрит на вещи не поверхностно и знает им цену, тот не должен принимать к сердцу суждения, столь пустые и противные очевидности”.

Ломоносов, чрезвычайно обрадованный этим письмом, позволил себе большую бестактность, в которой ему пришлось потом немало раскаиваться: он напечатал письмо Эйлера. Ломоносов забыл при этом даже спросить Эйлера, желает ли он огласки своего частного письма. Понятно, что этот поступок вызвал справедливое негодование знаменитого геометра, который некоторое время спустя писал Шумахеру: “Впредь, когда мне случится писать таким людям, буду осторожнее и отложу в сторону всякую откровенность”.

Но не будем слишком строги к Ломоносову и напомним читателю, что в это время самолюбие его было раздражено также и литературными врагами.

При дворе Елизаветы в описанную эпоху уже образовались две партии. Одна из них, “более многочисленная и сильная, держалась так называвшегося тогда старого двора, который находился вполне в распоряжении Шуваловых; другая, менее значительная, состояла из приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны и считала своими покровителями графов Разумовских”, – говорит Пекарский. Шуваловы покровительствовали Ломоносову, а Разумовские “держали в милости” Сумарокова. Поименованные писатели имели каждый своих почитателей, которые враждовали между собой. Шувалов, будучи уже стариком, рассказывал с циничной откровенностью, как он потешался, стравливая Ломоносова с Сумароковым. Эти литературные ссоры, сопровождаемые эпиграммами и сатирами, доставляли немалое удовольствие знатным любителям изящной словесности, и они старались еще более подзадорить горячих и самолюбивых писателей.

К чести Ломоносова нельзя не упомянуть, что если он и пользовался покровительством Шувалова и других, то никогда не низкопоклонствовал перед ними и не позволял себе, унижаясь, унижать и то искусство, которому служил. Прямая, честная, широкая и страстная натура не позволяла ему ронять таким поведением свое человеческое достоинство.

В угоду знатным покровителям он не только не изменял своим убеждениям, но не делал даже уступок. В этом отношении крайне характерен тот отпор, который он дал Шувалову, когда этот последний, вероятно, чувствуя за собою долю вины, вздумал мирить нашего поэта с Сумароковым. Ломоносов отвечал письмом: “Никто в жизни меня больше не изобидел, как Ваше Высокопревосходительство. Призвали Вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям… Вдруг слышу: помирись с Сумароковым! т. е. сделай смех и позор. Свяжись с таким человеком, от коего все бегают, и Вы сами не рады. Ваше Высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым… Не только у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве не отнимет”.

С такой смелостью и твердостью, опираясь всегда на чистоту своих намерений и правдивость своих убеждений, Ломоносов действовал и писал всегда, не отступая ни перед какими препятствиями и совсем не разбирая, к кому обращалась речь его. Читая некоторые из его писем, иногда просто поражаешься их

смелости, которая почти граничит с дерзостью и нахальством. Но это было не более как выражение жара его страстной души, не смягченной никаким воспитанием.

ГЛАВА VI

Новая комиссия. – Участие Ломоносова в учреждении Московского университета. – Комиссия для сочинения нового регламента. – "Всенижайшее мнение об исправлении С.-Петербургской Академии наук". – Столкновение с Тепловым. – Выговор Ломоносову. – Прошение государыне. – Ломоносов заведует учебными и учеными отделениями Академии. – Большой атлас Российской империи. – Новые регламенты для гимназии и университета. – Гимназия и университет отданы Ломоносову в "единственное смотрение". – Ученое предприятие. – Новый журнал. – Русская грамматика. – Теория света. – Обвинение Ломоносова в кощунстве и оскорблениях духовенства. – "Слово о рождении металлов от трясения земли". – "Рассуждение о большей точности морского пути". – Атмосфера вокруг Венеры. – "О размножении и сохранении российского народа"

Деятельность Ломоносова в последние десять лет его жизни прошла главным образом в постоянных стараниях устроить нашу Академию и учебные учреждения при ней.

В 1754 году, вследствие сообщений нашего академика И. Шувалову, граф К. Разумовский обратил внимание на множество второстепенных служащих при Академии, большинство из которых не приносило ей никакой пользы. Президент поручил советнику Шумахеру вместе с Ломоносовым, Мюллером и Штелином рассмотреть, нет ли среди "находящихся ныне налицо в штате, так и сверх штата служителей, в которых искусства, пользы и дальней или никакой нужды признано не будет и без которых во исправление каких-либо дел обойтиться можно; также нет ли и таких, которые хотя и в штате есть, но или должности своей не отправляют за какими-либо собственными пороками или способности к тому не имеют, – таких всех с суммы академической сбавить, а надобных только оставить".

Ломоносов принялся за это дело с обычной своей энергией, но все-таки весь труд комитета остался без последствий. Наш академик писал Шувалову: "Иной боится отрешить… чтобы не раздражить какого-нибудь знатного господина; иной говорит, что он беден. Однако прошу меня извинить – не могу всех пристрастий и всех обстоятельств изобразить. Словом: с одного конца Академию хотят починивать, а с другого портят… окончание сего дела ясно покажет, и я никогда по чистой моей совести не останусь лживым человеком". Комиссия представила свой доклад президенту, но последний почему-то оставил его без

внимания.

В том же году Ломоносов принимал деятельное участие в развитии и осуществлении плодотворной мысли – учредить в Москве первый университет. Теперь не подлежит никакому сомнению, что это высшее учебное заведение обязано своим возникновением стараниям Ломоносова, который и внушил Шувалову мысль взяться за это дело. Вероятнее всего, что весь проект университета, поданный в Сенат Шуваловым, был составлен одним нашим ученым. По крайней мере, в этот проект вошли целиком многие параграфы из письма Ломоносова, где он излагал свое мнение об устроении Московского университета и обещал прислать через пять дней подробный план его. Императрица Елизавета утвердила проект университета 12 января 1755 года.

Упомянем здесь добрым словом старания Ломоносова, чтобы указанный проект был составлен как можно шире и с течением времени не требовал бы переделок. “Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план университета служил во все будущие годы. Того ради, несмотря на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в плане профессоров и жалованных студентов довольное число. Сначала можно приняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее употребить на собрание университетской библиотеки, нежели сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после, как размножатся, оный снова переделывать и просить о прибавке суммы”.

В том же году с увлечением и жаром, которого не могли охладить даже зрелый возраст и болезни, Ломоносов вел упорную борьбу со своими врагами, благодаря чему его ученые и литературные занятия отступили на второй план. Тогда была учреждена комиссия для сочинения нового уложения, причем Тауберт, по распоряжению Сената, обязывался представить в эту комиссию сведения “о всех недостатках и излишествах” в Академии. Тауберт составил свои предложения, которые находил полезными для улучшения состояния ученого учреждения и отдал их на обсуждение академического собрания.

Ломоносов в свою очередь намеревался составить проект исправления Академии. Неизвестно, сделал ли он что-нибудь цельное в этом отношении. Но и по уцелевшим отрывкам можно судить о том, какова должна быть Академия по его мысли. Из этих документов наиболее заслуживало внимания его “Всенижайшее мнение об исправлении С.-Петербургской Академии наук”. Все “Мнение” переполнено чрезвычайно

меткими указаниями на недостатки академического регламента, на ничтожные успехи учеников в академической гимназии, на причины малочисленности студентов и гимназистов. С особенной силой Ломоносов восстает против запрещения учиться при Академии записанным в подушный оклад, причем ссылается на европейские государства.

“А у нас в России, при самом наук начинании, уже сей источник регламентом по 24 пункту запрещен, где положенных в подушный оклад в университет принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь великая и казне тяжелая была сумма, которой жаль потерять на приобретение ученого природного россиянина и лучше выписывать! Довольно б и того выключения, чтобы не принимать детей холопских”.

В академических заседаниях дело не дошло до рассмотрения предложений Ломоносова: во время первого же заседания он жестоко поругался с Тепловым. Мюллер, ненавидевший нашего академика всеми силами своей души, не замедлил донести об этом президенту, причем заявлял, что Теплов и Шумахер оставили собрание, а он, Мюллер, просит уволить его от присутствия, не желая и опасаясь говорить о каком-либо деле с Ломоносовым.

Эта ссора повлекла за собою письменный выговор Ломоносову от президента, который приказывал объявить ему свое неудовольствие в канцелярии через секретаря. Возмущенный Ломоносов подал прошение государыне и просил об избавлении его “от Теплова ига”. Прошение возымело действие, президенту пришлось уничтожить свой выговор и снова допустить Ломоносова присутствовать в академических собраниях.

Вслед за этим наш ученый составил обширную записку, в которой отделал своих врагов, как говорится, “начисто”. В ней же он высказывал свое мнение о том, каков должен быть новый устав Академии. Эта записка, замечательная по своему языку, пылкому и убедительному, содержала описание академических штатов и предлагала ввести новую должность – вице-президента Академии, которую, судя по многим фактам, Ломоносов прочил себе. Однако его записка, на которую он смотрел очень серьезно, как видно из вступления к ней, также не достигла своей цели.

Нашему ученому поручено было составить похвальное слово Петру Великому. Это занятие, хлопоты по изданию второго тома его сочинений и русской грамматики, а также многочисленные обычные работы отвлекли Ломоносова несколько в сторону, и борьба с врагами временно затихла.

13 февраля 1757 года Ломоносов, еще в 1755 году отказавшийся от кафедры химии, добился-таки

непосредственного участия в управлении академическими делами. Президент, вероятно, откликаясь на ходатайство И. Шувалова, издал, под предлогом дряхлости и старости Шумахера, распоряжение, которым повелевалось коллежскому советнику и профессору Ломоносову вместе с Шумахером и Таубертом присутствовать в академической канцелярии и вместе с ними подписывать все текущие дела.

Присутствие нашего академика в канцелярии навело страх на его сочленов. Шумахер не произносил ни одного слова, а Тауберт "высказывался несмеющим противоречить тому, что предлагал Ломоносов". В новом своем положении наш академик стал распоряжаться весьма самостоятельно, чтобы не сказать более, и дал своим врагам почувствовать свою власть. Но все-таки все его распоряжения имели своим основанием искреннее желание принести пользу Академии и всей России. Мюллер поторопился жаловаться на него президенту, но эти доносы закончились выговором знаменитому историографу.

7 января 1758 года наш академик представил президенту записку о неудовлетворительном состоянии Академии и о мерах по улучшению его. Граф Разумовский в ответ на это представление назначил Ломоносова заведовать всеми учеными и учебными отделениями Академии.

Тогда же Штелину были поручены художества, а Тауберту – типография, книжная торговля и мастерские.

Ломоносов немедленно обратил особенное внимание на увеличение числа учеников гимназии и студентов университета, хлопотал и об улучшении их содержания. Вскоре после этого нашему академику поручено было заведовать географическим департаментом. Тогда Ломоносов энергично приступил к составлению большого атласа Российской империи.

26 мая 1759 года он потребовал от синода подробный список всех синодальных строений, церквей, монастырей, сведения об их устройстве и положении, "а сверх того присланы были из монастырей с исторических описаний о времени построения оных для сочиняющейся российской истории копии". В Сенат же Ломоносов подал ходатайство о содействии для получения сведений о городах, их положении, устройстве, экономическом состоянии, торговле, промыслах, заводах, фабриках и так далее. Причем опять-таки не забывалось и об интересах истории: ученый просил присыпать копии с летописей.

Сенат отпечатал 30 запросов на одном листе и разослал по всем городам. С 19 января 1760 года стали поступать ответы на запросы; разборкой и приведением в порядок этих сведений занимался студент Илья Абрамов. Но Ломоносову не суждено

было ими воспользоваться.

В то же время он не переставал заботиться о приведении в порядок гимназии и университета и наконец составил для них новые регламенты, рассмотрение которых было поручено Мюллеру, Фишеру, Брауну и Модераху. Мюллер отозвался, что им самим ранее были составлены регламенты для университета и гимназии. Браун и Модерах сделали некоторые весьма основательные замечания, которые Ломоносов нашел справедливыми и достойными внимания. Мнение же Фишера было отражением взгляда Тауберта и сводилось к тому, чтобы не принимать в гимназию детей, принадлежащих к податному сословию, и чтобы число гимназистов и студентов было гораздо меньше того, которое Ломоносов указывал в своем проекте. Наш ученый находил необходимым, чтобы в гимназии было 60 учеников, а в университете – 30. Фишер вместе с Таубертом спрашивали: “Куда столько гимназистов и студентов? Куда их девать и употреблять будет?” Михаил Васильевич на это справедливо возражал, что в России нет ни лекарей, ни аптекарей, ни механиков, ни адвокатов “и ниже своих профессоров в самой Академии и в других местах”.

В это время Тауберт начинает приобретать значение в канцелярии, так как его тесть, Шумахер, стал слишком стар и дряхл и вследствие болезни часто по нескольку недель не заглядывал в Академию. Но очевидно, что престарелый правитель канцелярии продолжал руководить Таубертом и побуждал его всячески препятствовать Ломоносову в его стараниях провести новый регламент. Деньги на содержание гимназии и университета выдавались “с великим затруднением”, ученики находились в самом жалком положении, “так что иногда Ломоносову до слез доходило, ибо, видя бедных гимназистов босых, не мог выпросить у Тауберта денег… Таковые поступки понудили Ломоносова просить президента, чтобы университет и гимназия отданы были ему в единственное смотрение и сумму по новому статусу на оба сии учреждения отделять особливо, с тем чтобы канцелярия (сиречь прочие чины) чинила ему всякое вспоможение”.

Граф К. Разумовский, после рассмотрения в академическом заседании предложений Ломоносова, распорядился об утверждении вышеупомянутой просьбы.

После такого распоряжения Ломоносов счел себя вправе составить в академической канцелярии определение, которым академики Фишер, Браун, Эпинус, Котельников и адъюнкт Корицкий обязывались начать чтение лекций при университете и читать их по четыре раза в неделю. 14 февраля 1760 года за

подписью графа Разумовского и Ломоносова вышли правила для университета. Этими правилами учреждались три факультета – юридический, медицинский и философский – и назначался особый проректор университета, избираемый из числа академиков. Кроме того, предполагалось давать ученые степени и исходатайствовать формуляр с пунктами “университетской привилегии”. На содержание университета и гимназии определено было расходовать 15 тысяч. Особо уточнялось, что сумму эту следовало выдавать на учебные заведения отдельно от общих денег на Академию. Хранение и расходование этих 15 тысяч рублей поручалось Ломоносову.

Но все это не могло удовлетворить нашего академика, и он продолжал хлопотать о привилегиях для университета.

“Мое единственное желание состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение гимназию и университет, откуда могут произойти многочисленные Ломоносовы”, – так определил он свое пламенное желание добиться заветной цели в письме к И. Шувалову, на содействие которого он сильно рассчитывал.

Но все хлопоты нашего академика ни в 1760-м, ни в 1761 году, когда он обратился за содействием к другому почитателю его таланта, канцлеру графу М. Воронцову, не увенчались успехом.

Из других занятий Ломоносова в качестве советника академической канцелярии мы упомянем здесь об ученом предприятии, которое он дважды пытался осуществить. Ломоносов предложил послать способного живописца во все древние русские города, “чтоб имеющихся в церквах изображений государских иконописною и фресковою работою, на стенах или гробницах состоящих, снять точные копии величиною и подобием, на бумаге водяными красками… А сие учинить для того: 1) дабы от съедающего времени отнять лики и память наших владетелей и сохранить для позднейших потомков; 2) чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших; ибо выданные прежде всего в печать родословные грыдырованные листы не токмо весьма недостаточны, но и никакого сходства между собою в лицах не имеют; 3) чтоб Санкт-Петербургская Академия художеств имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащею живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя подлинного подобия, а чтобы учащиеся живописному и резному художеству, смотря на работу мастеров, по таковым переменам к изображениям привыкли…”

Это предложение Ломоносов повторил еще раз 16 октября 1760 года и добился-таки того, что оно было принято. Синод

разослал по епархиям указ, которым назначенный канцелярией учитель рисования Андрей Греков допускался к снятию указанных изображений по церквам. Но, как рассказывает Ломоносов, Тауберт и тут постарался затормозить дело, о неосуществлении которого в то время приходится пожалеть теперь всем любителям русской старины и археологам. Греков назначен был учителем рисования к великому князю Павлу Петровичу, вместо него почему-то никто не был послан, и, таким образом, действительно прекрасное предложение Ломоносова осталось невыполненным и забылось.

Чтобы охарактеризовать вполне деятельность нашего академика за период с 1754 по 1761 год, нам приходится упомянуть здесь о его литературных и научных занятиях.

3 января 1754 года Ломоносов писал Шувалову, что весьма полезно было бы Академии издавать русский периодический журнал, в котором бы помещались в доступной для любителей чтения форме статьи академиков.

В конце года граф К. Разумовский разрешил Академии издавать этот учено-литературный журнал, под названием “Санкт-Петербургские академические примечания”, а ведение его поручалось личному врагу Ломоносова – конференц-секретарю Мюллеру. Вероятно, именно это обстоятельство было причиной того, что наш писатель стал относиться к этому изданию с первых же дней его существования весьма враждебно. Тут у Ломоносова проявилась какая-то жадность к делу, – ему как будто хотелось все занятия Академии вместить в одном своем лице, а между тем у него работы была целая пропасть и он сам стал отказываться, как мы видели уже, от некоторых возложенных на него поручений. По настоянию Михаила Васильевича вышепоименованный журнал стал выходить под названием “Ежемесячных сочинений”.

В 1755 году приступили к печатанию второго тома собрания сочинений Ломоносова. Но вскоре он преподнес в рукописи свою “Российскую грамматику” великому князю Павлу Петровичу, и тогда же было приказано отпечатать ее прежде второго тома сочинений нашего поэта.

В январе 1757 года “Грамматика” вышла в свет. Она выдержала 14 изданий, из которых два последние были сделаны Отделением русского языка и словесности нашей Академии в 1855 году, в память столетия этого труда Ломоносова.

Наш академик смотрел на свое произведение как на опыт. В предисловии он замечал, что “ни на едином языке совершенной грамматики никто не сделал”; свою он находил также неполной и несовершенной, но считал необходимым сделать в этом

направлении первый шаг, “что будет другими после него легче делать”. Этот труд Ломоносова не может претендовать на полную самостоятельность: подкладкой для него послужила грамматика Смотрицкого, а отчасти и Ададурова.

1 июля 1756 года Ломоносов в публичном собрании Академии прочитал речь “Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее”. Здесь он выступил противником так называемой гипотезы истечения, придуманной для объяснения световых явлений Ньютоном. В основе ломоносовской теории лежал эфир, правда, несколько другого строения, чем тот, которым в настоящее время объясняются все явления света. По мнению Ломоносова, эфир состоит из шариков троякой величины; поверхности их изрезаны неровностями, которыми они, подобно зубчатым колесам, зацепляются друг за друга и приводятся в движение. При движении “зыблющемся” происходит световое явление, при “коловратном” – тепловое. Конечно, все эти представления кажутся теперь весьма грубыми, но в то время физические теории всех знаменитых ученых отличались еще большей грубостью. Во всяком случае, эта работа Ломоносова заставляет каждого признать за ним замечательное остроумие и в высшей степени последовательную логику.

6 марта 1757 года синод подал императрице всеподданнейший доклад, которым Ломоносов за “Гимн бороде” обвинялся в кощунстве, “в явных духовному чину ругательствах, так как поставил безразумных козлят далеко почтеннейшими, нежели попов”. Синод просил, чтобы государыня приказала публично сжечь “соблазнительные и ругательные пашквили”, а Ломоносова для надлежащего увещания и исправления отослать в синод.

Но весьма набожная императрица не подвергла Ломоносова никакой ответственности. Тогда выступил защитником осмеянных “бород” Тредиаковский. Он написал стихотворение “Переодетая борода, или Гимн пьяной голове”. Стихотворение сопровождалось письмом, в котором просили Ломоносова напечатать “Переодетую бороду” в “Ежемесячных сочинениях”. Тредиаковский в этой сатире изобразил Ломоносова грубым пьяницей и намекал, что людей, дерзающих осмеивать предметы всеобщего уважения, следовало бы сжигать в срубах. Но такой совет даже в те времена был встречен с негодованием, и на Тредиаковского посыпались сатирические стихотворения.

Тредиаковский не удовольствовался одним стихотворением и пустил по рукам письмо, полученное якобы из Холмогор от некоего Зубницкого. Здесь Ломоносов изображен слишком уж грубыми чертами: “Лучшего ничего нельзя ожидать от безбожного

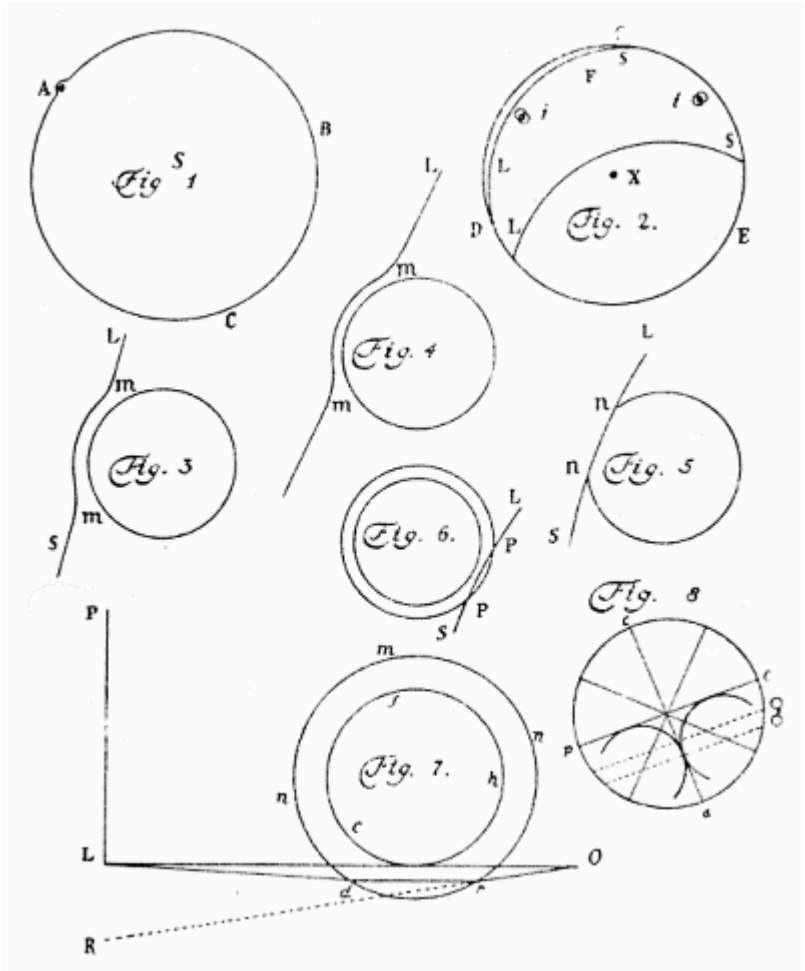
сумасброда и пьяницы! Не довольно того, что сей негодный ярыга, ходя по разным домам и компаниям, в разговоры употребляет всякие насмешки и ругательства благочестивому закону нашему; что презирает уставы оного и все то ни во что вменяет, что добрые люди, родившиеся в христианстве, за святое и спасительное почитают, не довольно и того, что он без разбору на весь духовный чин везде, как пес, лает: он еще и письменные противу таинств веры нашея и святыни закона глумления и ругательства употребить отважился". И Тредиаковский самым серьезным образом доказывает, что "Гимн бороде" есть не что иное, как сплошное богохульство и кощунство. Затем он изображает Ломоносова посягающим на все авторитеты самохвалом, причиняющим государству один вред и убыток.

Конечно, Ломоносов не остался в долгу и жестоко осмеял своего завистливого врага…

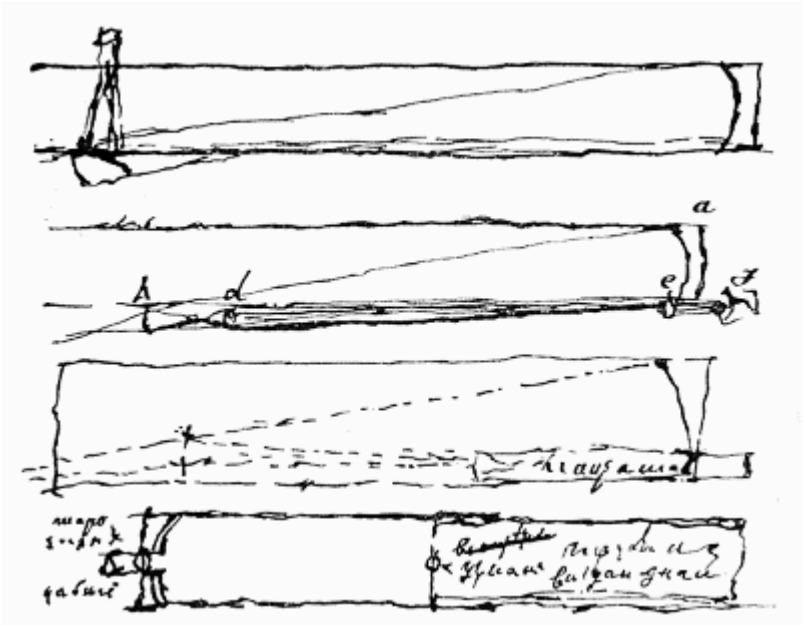
В начале сентября 1757 года вышел из печати его новый труд: "Слово о рождении металлов от трясения земли". Ломоносов прочитал эту речь в публичном академическом собрании 6 сентября. В ней наш академик первый высказал мысль, что каменный уголь произошел из торфяника при участии подземного огня. "Замечания Ломоносова относительно излагаемого предмета, – говорит профессор Щуровский, – принадлежат к числу самых драгоценных. Перечитывая их, с трудом веришь, что обо всем этом говорилось за сто лет до нашего времени". Теории Ломоносова недостает только одного предположения: что наша планета первоначально представляла огненно-жидкую массу, которая с течением времени стала остывать и покрылась твердой корой. Классификация видов землетрясений, сделанная в его речи, до сих пор господствует в науке.

В том же новаторском духе написано и его "Рассуждение о большей точности морского пути". Здесь особенно замечательна последняя глава "о предсказании погод, а особливо ветров". Ломоносов настаивал на необходимости учреждения в разных частях света самопишущих метеорологических обсерваторий. "Таким образом, он предвидел и предсказал все, что ныне думают и делают метеорологи", – замечает Перевощиков.

26 мая 1761 года Ломоносов наблюдал прохождение Венеры через диск Солнца. Эти наблюдения привели Ломоносова к заключению, что вокруг названной планеты существует атмосфера. Только через тридцать лет после этого Гершель и Шретер пришли в своем споре к соглашению и признали существование атмосферы вокруг Венеры. Впоследствии это мнение было подтверждено знаменитым Араго.



Рисунки Ломоносова, поясняющие его наблюдения прохождения Венеры по диску Солнца, 1761



Ломоносовские рисунки сконструированных им зеркальных телескопов, 1762

В том же году, 1 ноября, в день рождения И. Шувалова, Ломоносов поднес ему одно из замечательнейших произведений своего пера. Это было большое письмо, в котором наш ученый собрал все свои “старые мысли, простирающиеся к приращению общественной пользы”. Все оно написано на одну тему – “о размножении и сохранении российского народа”, и Ломоносов находит, что взгляды, высказываемые им здесь, могли бы быть подведены под следующие главы: “1) О размножении и сохранении российского народа. 2) Об истреблении праздности. 3) Об исправлении нравов и о большем народа просвещении. 4) Об исправлении земледелия. 5) Об исправлении и размножении ремесленных дел и художеств. 6) О лучших пользах купечества. 7) О лучшей государственной экономии. 8) О сохранении военного искусства во время долговременного мира”.

Причинами уменьшения народонаселения Ломоносов считает, во-первых, браки между лицами несоответствующих лет, а также насильственные; во-вторых, запрещение жениться более трех раз; в-третьих, насильственное пострижение в монахи вдовых молодых священников и дьяконов и вообще поступление в монашество молодых людей обоего пола. Для сохранения жизни младенцев, рожденных вне брака, ученый предлагал устраивать “богаделенные дома”, которые принимали бы и воспитывали бы

подобных детей. Для преодоления большой смертности Ломоносов рекомендует составить общедоступный лечебник, размножить лекарей и *русские* аптеки и этим уничтожить суеверное лечение волшебством и чародейством. Особенною яркостью красок блещет описание излишеств, которым русский народ предается в большие праздники.

Дальнейшие меры, которыми автор надеялся задержать уменьшение численности русского народа, сводились к искоренению драк, разбоев, к возвращению множества беглых из-за границы, к призыву иностранных поселенцев и так далее. Вообще это письмо затрагивает целую массу важных вопросов, которые и поныне остаются нерешенными. Широта взгляда вместе с глубоким знанием своего народа, искреннее убеждение в правоте своего мнения и могучий, блестящий и горячий язык, каким написано все письмо, заставляют признать это произведение одним из наиболее выдающихся во всей русской литературе XVIII столетия.

В нашем столетии этот знаменитый трактат претерпел многочисленные мытарства, навлекая гонения на издателей и цензоров, осмеливавшихся пропускать его в печать, хотя и с многочисленными пропусками. Только в 1871 году, то есть почти через 110 лет, письмо Ломоносова впервые было напечатано без пропусков в третьем выпуске “Бесед в обществе любителей российской словесности”.

ГЛАВА VII

Новая императрица. – Ломоносов забыт. – Его прошение об отставке. – Болезнь. – Оскорбительное распоряжение президента. – Ломоносов в отставке. – Возвращение в Академию. – Критика проекта императрицы. – Ломоносов – статский советник. – "Краткое описание разных путешествии". – Снаряжение экспедиции. – Ее участь. – Шлёцер. – Последние попытки провести новый регламент. – Екатерина II посещает Ломоносова. – Болезнь и кончина его. – Похороны. – Памятник Ломоносову. – Заключение

С восшествием на престол Екатерины II положение Ломоносова сильно поколебалось. Новая государыня смотрела на Шувалова и Воронцова как на лиц, причинивших ей более всего неприятностей. Ломоносов был в числе их сторонников и пользовался их благорасположением. Об этом, несомненно, Екатерина II отлично знала.

Наш поэт через несколько дней после переворота написал торжественную оду в честь новой императрицы, причем порицал деяния Петра III. Но это стихотворение не достигло цели, и все первое время царствования Ломоносов оставался забытым. Вокруг него рассыпались щедрою рукою чины и денежные награды. Теплов получил двадцать тысяч рублей единовременно и чин действительного статского советника; теперь он являлся первым дельцом в кабинете императрицы и сочинял все манифесты и распоряжения ее. Тауберт тоже был произведен в действительные статские советники; не был забыт даже Елагин, тот самый, который под именем Балабана фигурировал в сатирических стихах Ломоносова. Самолюбие нашего ученого было всем этим сильно затронуто.

Первое время он сказывался больным, но не вытерпел, когда Тауберт распорядился, чтобы в канцелярии дела принимались к исполнению без его подписи: Ломоносов подал прошение на высочайшее имя. Здесь он прежде всего в сжатых, но сильных чертах описал свои труды на пользу наук и по устроению гимназии, университета и географического департамента; затем он выставил слабость здоровья, "лом в ногах и раны" как следствие его беспрерывных занятий; несмотря на все эти труды и ревностную службу, он оставался 12 лет в одном и том же чине, тогда как его сотоварищи были произведены и опередили его; в заключение Ломоносов, ссылаясь на слабость здоровья, просил императрицу совсем уволить его от службы, произведя, однако, в чин статского советника и назначив ему пожизненную пенсию в

1800 рублей.

При прошении он приложил список лиц, которые обошли его чином. Ясно, что Ломоносову хотелось получить именно это повышение, а вовсе не выходить в отставку.

С удовлетворением просьбы нашего ученого медлили. Он обратился за содействием к Федору Орлову, который просил за него у своего брата Григория.

Но, несмотря на все эти хлопоты, весь 1762 год Ломоносов оставался забытым. К оскорбленному самолюбию присоединилась болезнь, приковавшая его к постели.

1763 год начался для нашего академика с новой неприятности для него. Управление географическим департаментом по распоряжению графа Разумовского было передано историографу Мюллеру. Такое решение мотивировалось тем, что “от географического департамента уже несколько лет почти ничего нового к поправлению российской географии на свет не произведено”, чему причиной было “нерачение определенных при оном географическом департаменте; ибо, вместо того чтобы соединенными силами трудиться к общей пользе, один другому всякие препятствия делает”. Ломоносов не подчинился приказанию президента и представил подробный список всего того, что сделано было названным департаментом за время его управления.

Из этого столкновения Ломоносов вышел победителем: приказание президента не было приведено в исполнение и наш ученый управлял географическим департаментом до конца жизни.

Тем не менее тон представлений нашего писателя президенту после этого значительно изменился. Теперь вместо угроз, как бывало прежде, в его донесениях появились нижайшие просьбы “с достодолжным высокопочитанием”.

Зато в сношениях с академиками Ломоносов продолжал держать себя заносчиво и подчас очень грубо. Все эти ссоры и пререкания повели за собой приказ президента, который рекомендовал членам канцелярии оставить споры и приступить к делу. Вскоре после этого, а именно 2 мая 1763 года, Екатерина II подписала указ об отставке нашего академика.

Ломоносов узнал об этом указе только 15 мая.

В тот же день он, отказавшись подписывать бумаги, уехал из Петербурга в свои поместья. Все враги его, а особливо знаменитый Мюллер, ликовали; но им не пришлось долго радоваться. Вследствие каких-то до сих пор неразъясненных причин Екатерина II отменила указ об отставке Ломоносова, и он вскоре опять появился в академической канцелярии, причем,

конечно, снова начались обычные препирательства.

Наш академик воспрянул духом. 14 июля Теплое огласил в канцелярии высочайшее повеление о немедленном составлении карт с обозначением всех произведений, которыми отличается та или другая местность России, причем все изменения, могущие последовать, должны были ежегодно вноситься в карты. Ломоносов весьма метко и убедительно доказал всю неосуществимость такого проекта и, несмотря на то, что в нем высказывалась воля императрицы, зло осмеял его. Дело завершилось тем, что государыня поручила составление подобных карт самому Ломоносову. Тогда он потребовал через Сенат из разных присутственных мест сведения, необходимые для составления ландкарт. Чтобы избежать многочисленности их, он предложил составлять “экономический лексикон российских продуктов”. Все это, приходится заметить, было немногим более практично, чем проект Екатерины П.

Но деятельность Ломоносова все-таки понравилась государыне, и она 20 декабря 1763 года произвела его в статские советники с жалованьем в 1875 рублей в год.

За три месяца до этого Михаил Васильевич поднес юному генерал-адмиралу свое новое произведение: “Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию”. Это сочинение повлекло за собою, 14 мая 1764 года, высочайшее повеление о снаряжении экспедиции для разыскания пути в Индию. Дело было задумано на широких основаниях: на экспедицию ассигновали двадцать тысяч рублей и всем участникам ее обещали награды, чины или – в случае их смерти – пенсии вдовам.

Ломоносов являлся душою задуманного предприятия: все его предложения и советы принимались беспрекословно. Наш ученый составил “примерную инструкцию морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на Восток Северным Сибирским океаном”. Далее, он хлопотал, чтобы каждый корабль был снабжен всеми необходимыми физическими и астрономическими инструментами, заботился об обучении штурманов умению обращаться с ними и делать точные наблюдения… Словом, ни одна мелочь не была забыта Ломоносовым. Но ему не суждено было довести снаряжение этой экспедиции до конца.

Тем не менее, через несколько недель после его смерти, а именно 9 мая 1765 года, начальник экспедиции Василий Чичагов вышел с тремя судами в море из Архангельска. Однако ни эта первая, ни предпринятая в 1766 году вторая попытка пробиться сквозь беспрерывные льды не увенчались успехом, и Чичагову

пришлось воротиться в Архангельск.

Но эти неудачи еще ничего не доказали, и вероятнее всего в недалеком будущем организуются новые экспедиции в Полярное море. В 1871 году была отправлена германская экспедиция к сибирским рекам. Она дала повод М. Сидорову вспомнить о забытом предположении нашего ученого: “Ломоносов в проекте полярной экспедиции, составленном в 1763 году, указывал свободный и единственно возможный путь к достижению полюса между островами Шпицбергеном и Новою Землею. К тому же пришли английские и немецкие авторитеты… Открытие свободного Полярного моря до 79° северной широты в сентябре 1871 года Пайэром практически, на деле оправдало ученые предположения Ломоносова. Итак, только через 108 лет г-н Пайэр, наткнувшись на указанный Ломоносовым путь, открыл миру, с каким глубоким знанием Ледовитого океана составлен был ломоносовский проект”.

Среди событий последних лет жизни нашего академика наиболее интересна борьба с Таубертом из-за адъюнкта Шлёцера и вторичная попытка добиться утверждения нового регламента для университета.

Шлёцер, прослужив в Академии четыре года адъюнктом истории, стал требовать себе должность профессора, причем указывал на предложение Геттингенского университета занять в нем кафедру.

В доказательство своей состоятельности Шлёцер представил два плана: первый из них – “Мысли о способе разработки древней русской истории” – подразумевал написание истории России согласно методу автора, но по собраниям и сочинениям Мюллера, Ломоносова и Татищева; второй план предполагал составление популярных руководств по истории, географии и статистике. Понятно, что ни Мюллер, ни Ломоносов не могли примириться с тем, чтобы молодой ученый работал над материалами, ими собираемыми и издаваемыми. Следует заметить, что Шлёцер был самого неуживчивого и сварливого характера и в то же время крайне высокого мнения о самом себе и своих знаниях. Самолюбие Ломоносова было задето, и он поднял целое гонение на молодого ученого. Академик писал, что у Шлёцера нет достаточных сведений о российских древностях, что похвалы иноземцев в этом случае ничего не значат, так как они сами не сведущи в том, за что хвалят, что, наконец, в Академии нет места профессора по кафедре истории и что он сам пишет русскую историю.

Действительно, Ломоносов еще в 1758-м году написал первую часть “Российской истории”, которая стала печататься в 1763-м, а

вышла в свет после его смерти, в 1766 году; кроме того, в 1760 году вышел его “Краткий Российский летописец”. Во время же борьбы со Шлёцером наш академик готовил второй выпуск своей “Истории”.

Когда Шлёцер стал готовиться к отъезду за границу, Ломоносов, относившийся с большой подозрительностью к занятиям молодого ученого, подал донесение в Сенат о том, что у Шлёцера есть русские рукописи, издание которых предосудительно для России. Шлёцера сейчас же задержали, не выдавали ему паспорта, обыскивали и так далее. Все это тянулось до тех пор, пока не вмешалась в дело сама Екатерина II, которая именным указом назначила Шлёцера профессором Академии и в то же время разрешила ему свободный доступ ко всем древним спискам в библиотеках.

Преобразовательные меры императрицы относительно воспитания детей и учреждения для них учебных заведений побудили и графа Разумовского дать распоряжение канцелярии, чтобы Ломоносов и Тауберт “обще или, если не согласятся, то порознь, приглася каждому к себе из г.г. профессоров кого пожелают, учинить проекты, во-первых, на каком основании академическому ученому корпусу по нынешнему состоянию и впредь быть должно, а потом и прочим департаментам порознь, токмо б располагаемая сумма не превосходила апробованного штата…”

Ломоносов, радуясь, что наконец-то исполнятся его заветные мечты, взялся за это дело с обычной своей настойчивостью и горячностью. Из-под пера его посыпались опять проекты, которые немногим отличались от составленных им 10 лет тому назад. Все силы нашего ученого были направлены на то, чтобы сделать из Академии вполне русское учреждение и избавить ученое общество от гнета канцелярии. Но и на этот раз старания Ломоносова не увенчались успехом.

Хотя проекты нашего ученого никогда не были осуществлены полностью, но все-таки некоторые из них были после смерти его приняты. Когда директором Академии наук стал граф Владимир Орлов, академическая канцелярия была тотчас же уничтожена, управление ученым обществом передано членам его и все заведения по части художеств и ремесел отделены от Академии. В этом бесспорно следует видеть одну из крупных заслуг Ломоносова перед русским обществом.

Последние два года наш знаменитый писатель все чаще и чаще стал недомогать. Иногда по нескольку недель подряд он не выходил из дому. 7 июня 1764 года императрица, узнав о болезни Ломоносова, посетила его на дому вместе с княгиней Дашковой и

некоторыми из придворных. Не велев докладывать о своем приезде, императрица прямо прошла в его кабинет, где и застала Ломоносова сидящим у своего письменного стола в глубокой задумчивости. Императрица видела, что силы великого человека иссякают, и старалась ободрить его. Она приглашала его к себе обедать и уверяла, что у нее щи будут такие же горячие, как подает ему его хозяйка. Ломоносов отблагодарил государыню за ее визит восторженными стихами, которые и преподнес ей при ее отъезде из его дома.

Но надолго влить бодрость и энергию в душу Ломоносова императрице не удалось.

В конце марта 1765 года наш академик простудился и слег окончательно. Он умер 4 апреля 1765 года, на второй день Пасхи, около пяти часов пополудни, встретив смерть со спокойствием истинного философа. За несколько дней до своей смерти Ломоносов говорил Я. Штелину: “Друг, я вижу, что должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть; жалею только о том, что не мог совершить всего того, что предпринял для пользы отечества, для приращения наук и для славы Академии, и теперь, при конце жизни моей, должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мною”. За два дня до своей кончины он причащался и испустил дух во время совершения над ним обряда соборования, после прощания в полном разуме как со своею женою и дочерью, так и с прочими присутствующими, писал Тауберт в письме к Мюллеру.

Похороны Ломоносова прошли с большою торжественностью, при огромном стечении народа, сенаторов и вельмож. Михаил Васильевич был погребен 8 апреля на кладбище Александро-Невского монастыря.

Спустя более года после этого канцлер граф Воронцов поставил на могиле нашего великого соотечественника памятник из каррарского мрамора. На памятнике высечена надпись на латинском и русском языках, которую поручено было составить Штелину.

Памятник на могиле Ломоносова. Некрополь XVIII века. Александро-Невская лавра

Оглядываясь назад, на всю бурную и многосложную жизнь М.В. Ломоносова, мы не можем не упомянуть еще раз о том, что каждый шаг его деятельности был запечатлен пламенной любовью к отечеству и искренним желанием успеха русской науке. Правда, ученые работы Ломоносова не повели к великим открытиям, производящим перевороты в науке. Но, тем не менее, все сделанное им для нее, для русского слова и нашей литературы настолько значительно, что величественный образ мощного борца за процветание в России наук и народного просвещения навсегда останется памятным и дорогим для каждого русского. В 1865 году, в день столетней годовщины со дня смерти Ломоносова наше общество сумело достойным образом помянуть эту общественную сторону деятельности энергичного и настойчивого продолжателя идей Петра Великого.

С.А. Раевская, внучка Ломоносова

М. Н. Волконская, правнучка Ломоносова

ИСТОЧНИКИ

1. *Билярский.* Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.

2. Сборник материалов по истории Императорской Академии наук в XVIII веке, изд. А. Куником. СПб., 1865.

3. *В. Ламанский.* Ломоносов и Петербургская Академия наук. Материалы к столетней памяти его. 1865, кн. 1.

4. *П. Пекарский.* История Императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873.

5. *М.И. Сухомлинов.* Ломоносов, студент Марбургского университета. – "Русский вестник", 1861, № 31.

6. *А. Будилович.* Ломоносов как писатель. Сборник материалов для рассмотрения авторской деятельности Ломоносова. Сб. II отделения Академии наук, т. 8.

7. *А. Будилович.* Ломоносов как натуралист и филолог. СПб., 1869.

8. *И. Порфирьев.* История русской словесности. Казань, 1886.

9. *Галахов.* История русской литературы.

10. *Штелин.* Записки. – "Москвитянин", 1850, № 2.

11. Празднование столетней годовщины Ломоносова Московским университетом (1765–1865). М., 1865.

12. В воспоминание 12-го января 1855 года. Ученo-литературные статьи профессоров и преподавателей Московского университета. М., 1855.

13. Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Московского университета 12 января 1851 года. М., 1851.

notes

Примечания

1

Обшевни – розвальни, широкие сани, обшитые лубом *(Словарь В.Даля). – Прим. ред.*

2

Алтын – старинная русская монета в три копейки.

3

Денежка – старинная монета в полкопейки.

4

Чин, соответствовавший пятому классу, как правило, назначавшийся на заводы, находящиеся в ведомстве императорского кабинета.

5

Hundsfotter – негодяй, каналья, подлец *(нем.)*.

Spitzbube – мошенник, жулик *(нем.)*.

7

“Да, да, пишите; я смыслю столько же, сколько и профессор, а притом я природный русский!” *(нем.)*.